

18+

Максим Форост



**Расцветая
ПОДО ЛЬДОМ**

Максим Форост

Расцветая подо льдом

«Издательские решения»

Форост М.

Расцветая подо льдом / М. Форост — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-530267-0

Когда посреди лета ложится снег, когда неожиданно являются ратники, когда слышны пророчащие войну удары бича Волчьего Пастыря, тогда ближний становится чужим, чужак — врагом, а ты — изгоем. От Пучая-реки до Смородины, от Шеломяня до Сорочинских гор каждый знает, что мир стоит лишь до новой войны. Города и посады, рудники и степи, русальи и берегини, лесовики и алконосты — где тут свои, ты не знаешь. Ты — полукровка, ты — Цветослав по прозвищу Грач...

ISBN 978-5-00-530267-0

© Форост М.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая	8
Глава I	8
Глава II	19
Глава III	32
Глава IV	41
Глава V	56
Глава VI	73
Часть вторая	82
Глава I	82
Глава II	88
Глава III	102
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Расцветая подо льдом

Максим Форост

© Максим Форост, 2021

ISBN 978-5-0053-0267-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Трудная и неверная выдалась в этом году весна. Весна – всегда труд. Земля и лес возрождаются в муках. С немым стоном пускает лес соки по жилам, с натугой разворачивает почки из очерствевшей за зиму кожи. Почки прорастут листвой, бутоны лопнут, жизнь вырвется наружу – все силы уйдут на то.

Труд и стоны естественны, как сама природа. Как жизнь и оживание. С ними рвётся на волю восторг, пьянящий дурман и головокружение, но не теперь... Теперь с восторгом возрождения срослась тревога. Точно лес не пробудился, а грубо разбужен – толчком, окриком.

Снег не растаял с весенней истомой, он растоптан подкованными сапогами. Не гроза, а железо гремело над Смородиной. Лес и река проснулись под крики, под жалобы, под тяжкие вздохи людей – усталых, бегущих и падающих в бессилии.

– Затаись! – в панике велит желтоволосый вожак.

Полтора десятка бойцов упали замертво и вжались в землю. Лежали долго. Вслушивались в скрипящий лес, в выдохи ветра и в шорохи трав. Далеко, очень далеко за их спинами, едва-едва различались возгласы – то ли людские, то ли звериные, то ли лешачьи. Не возгласы – победный вой.

Люди вглядывались в чёрные, мокрые от талой воды деревья, в немятую серо-зелёную траву, в нетоптанный остаток снега на тенистом склоне. Впереди лежал луг – широкий, просторный, а потому опасный, как всякая открытая местность. Перелесок за ним чреват возможной засадой.

– Да нет, тут безопасно, – со свистом выдохнул ратник в затёртой кольчуге и в мокром, с прилипшей тиной, всадничьем плаще.

– Лежать, Верига, – зашипел желтоволосый. – Безопасно будет, если я так скажу.

Вожак лежал и считал бешеные удары сердца. За лугом, за перелеском текла речка Смородина – она была бы спасением. Текла она медленно, неповоротливо, едва перемещая свои воды. Желтоволосый вздрогнул. Рядом с ним старый рыжебородый ратник, подняв голову, глядел на далёкие холмы справа.

Там на холмах сгибались в дугу берёзы: некто тянул к земле высоченные деревья. Донёсся крик, деревья распрямились, что-то пронеслось в воздухе.

– Долюшка-Судьбинушка, спаси-пронеси, Долюшка-Судьбинушка, спаси-пронеси, – молодой воин зачастил ратничью молитву.

– Добеслав, язык отрежу, – пригрозил Верига. Он смолк. Деревья распрямлялись ещё и ещё.

– Там был Ярц? – спросил желтоволосый вожак.

– Ярца в той стороне видели, – подтвердил рыжебородый. – Он уводил сотню через болота.

– Их отряд больше нашего, потому и попались, – успокоил желтоволосый. – А нас не увидят.

Берёзы снова, скрипя, разогнулись. Вожак задрал голову.

– Это Путьша, клянусь вам, Путьша Кривонос! – он уцепился глазами в то, что летело над лесом.

– Брось, – передёрнулся Верига, – отсюда не разглядишь.

– Да Путьша это! – стонал вожак. – Путьша и все, кто с ним был.

А рыжебородый ратник вдруг поднялся и, не сгибаясь, пошёл вперёд. Вожак очнулся:

– Эй, Скурат, – окликнул он. – Вернись!

Скурат замер на краю леса:

– Смотри, – сказал он. – На луг выходить нельзя, луг с холмов просматривается. А слева обойти можно.

Один за другим ратники перебрались к Скурату. Долго глядели на луг и на перелесок над речкой. Стояли изнурённые и досадливо скалились. Все – в грязных всадничьих плащах, но без коней, все с луками на спинах, но луки размокли в воде. Люди пропахли болотом, гнилью, поражением. Желтоволоосый вожак, глядя на них, сморщился как от боли.

– Здесь не переправиться, – за всех сказал Верига. Люди сторбились и отошли на прежнее место. Кто-то злобно сплюнул. Добеслав клацал зубами, будто на кого-то огрызался.

Желтоволоосый тянул шею и искал переправу. Река текла здесь не по-людски: она то оставалась без ветра, то с ветром неслась быстрее быстрого. Точно ратник, она перемещалась короткими перебежками. Вожак был молод, очень молод, лет двадцати с небольшим. Сейчас бы ему струсить, накрыть голову плащом и заскулить.

Он резко обернулся к своим:

– Вы же ничего другого не ждали, ага? Знали, что река разлилась, что холод сведёт ноги, что железо придётся бросить, а лошадей для переправы нет...

– Это ты нас завёл, – проговорил Добеслав, – загнал нас в ловушку.

– Если б ни я, вы были бы там, где теперь Ярец!

– Они повсюду рыщут. Если не уйдем немедленно, то нас зарубят.

– Ага, – согласился желтоволоосый, – или как Путьшу разорвут на берёзах.

Он видел: бойцы недовольны, они злятся. С полдюжины думают так же, как Добеслав, и Верига в их числе – вот это плохо. Но рыжебородый Скурат пока молчит – и это хорошо. А со стороны болот, останавливаясь и прячась, сейчас пробирались шесть-семь бойцов, их не заметили. При них – лошади. На лошадях – раненые.

– Нет, мы не идём за Смородину, – решил желтоволоосый.

– Что? – не поверил ратник.

– Да кто ты вообще? – задохнулся другой. – Кто такой? Мы что – тебя избирали?

– Меня избрал Вольх, – напомнил вожак. – Я – друг Вольха. А вы?

– Наши подошли, – ахнул молодой боец.

Подошедшие замахали им руками, зашипели сорванными голосами:

– Ну, скорее, там на холмах лешаки, их полсотни, секирщики и пращники. Кто здесь старшой? Ну, не теряй времени. Здесь есть переправа?

– Я здесь старший, – объявил вожак, – и мы не идём за Смородину.

– Как же это? – ужаснулся раненый с перебитой ногой, что лежал поперёк лошади.

– Мы идём вверх по реке, хоронимся в кустах и оврагах. Мы подберём лошадей, что отбились от сотни Ярца. Лошади теперь у реки, они долго бежали и сейчас пьют воду.

– А нельзя вверх по реке, нельзя, – взмолился раненый. – Верига, ну, скажи ему: на холмах лешаки, увидят.

Верига вспыхнул. Желтоволоосый кусал губы и ждал.

– В конце-концов, кони у нас уже есть, – сказал Верига. – А ниже по реке подберем ещё, на них и переправимся.

– Это верховые лошади, – перебил желтоволоосый, – а у Ярца в сотне были вьючные. Те самые, с трофеями.

Вожак видел, как у ратников вытянулись лица. Он сжал зубы и обвёл бойцов ледяным взглядом.

– С нами раненые, – заартачился Добеслав. – Да и вверх по реке – куда, до Плоскогорья? Они не выдержат.

– Я выдержу, выдержу, – заобещал другой раненый, с разрубленной топором ключицей. Он и бок лошади под ним были окровавлены. – Выдержу, выдержу.

Плохо, что за раненым волочился кровавый след. Лешаки учуют по нему весь отряд.

– Он слабее всех, – сказал вожак, – но даже он хочет в Плоскогорье... Братушки, нам по другому не жить, знаете это?

– Так всего-то – перейти здесь Смородину, – растерялся Добеслав. – Там нет облавы. Там живут люди, мы с ними смешаемся.

– Тогда Вольх велит всех повесить. Мы же поклялись служить ему.

– Эээ, пусть старые говорят, – заволновались воины. – Скурат! Скурат, скажи!

– Мы бросили в бою Гвездояра! – перекричал всех желтоволосый вожак. – Мы, его личная охрана, покинули в бою командира. Вольх называл его Правой рукой!

– Эээ, выбирать! Выбирать вожака! – огрызались грязные, пропахшие болотом ратники.

– Голоса подавать с младших. За Веригу!

– За Скурата! Верига, ну, скажи ему!

– Не надо Веригу! Пусть Скурат дело скажет!

Желтоволосый вожак оскалился и выдохнул сквозь зубы. Уцепился большими пальцами за пояс, а кисть руки положил на меч. На рукоять старинного дэвского палаша. Ещё только три вдоха и придётся рвать его из ножен. Пусть убивают.

Рыжебородый ратник поднял голову и разомкнул губы. Желтоволосый оцепенел и почувствовал, как холодная струйка гусеницей ползёт по спине.

– Он прав, – выговорил Скурат.

– Кто? – тихо спросил один ратник. Все напряглись и замолчали.

– Он плоскогорец. Пусть ведёт в Плоскогорье. За реку уходить нельзя: я слишком хорошо знал Гвездояра...

– Долюшка-Судьбинушка, – зашептал Добеслав.

– ...и слишком хорошо знаю Вольха, – договорил Скурат.

– А если скрыться, а если в чужой отряд? – зачастил кто-то. – Может, никто не найдет...

Желтоволосый вскинулся найти того, кто это сказал, но тот смолк и спрятался за спины.

– Выступаем, ребята, – приказал он. – Не шумим. Осторожно обходим луг – и вдоль реки мимо холмов. Возможно, мы с ними и разминёмся...

Желтоволосый вожак глядел на холмы. Ратники обернулись. С холмов, растянувшись длинной цепочкой, нарочно или случайно заходя бойцам в тыл, спускались рослые и кряжистые чужие воины с топорами, палицами и булавами.

Ещё оставалась возможность уйти от погони.

Часть первая

Огнич

Глава I

Тёплый и влажный утренний воздух наполнился звоном кузнечного молота. Звон вырвался из распахнутых дверей кузницы, смешался с деловым говором коневодов, перекрыл всхрапывание лошадей. Звон оборвался – кузнец, наверное, взял клещами подкову и окунул в чан свежесобранного снега.

Странное лето выдалось в этом году в Плоскогорье. Снег, выпавший среди зимы поздно, с приходом весны не растаял, но остался лежать скрипучим настом и мёрзлыми сугробами. Казалось, он пролежит до солнцеворота. Солнце палило с неба, птицы кричали на ветках, почки развернулись в зелёную листву. Одна трава ещё никак не пробьётся из-под искрящего снега.

У ворот кузницы разглядывали молодых коневодов три девицы. Подзагоревшие на первом солнышке личики, заплетённые рыжеватые косы, лёгкие сарафанчики и сапожки, лениво утаптывающие снежок.

– Знаешь, та зелёная лента, что ты у меня видела, так подошла! – сообщила первая, с самой рыжей косой. – Он так и сказал: «Она оттеняет твои волосы». Представляешь? – девчонка наморщила нос и рассмеялась.

– Ой, здорово! – восхитилась самая младшая. – Забава, как я тебе завидую! Слушай, а Миленка говорит, что у неё с парнем кое-что было! – девчонка счастливо покраснела.

– Врёт она! – позавидовала Забава. – Весна на неё действует!

– Весна! – третья девушка хохотнула и досадливо ковырнула сапожком снег. – То-то я смотрю кругом трава зелёная!

– А моя бабушка говорила, что раньше весну кликали.

– Как это? – удивилась младшая.

– Ну, песни пели. Собирались на Велесовом лугу и пели про весну.

– Ух, ты! А давайте споём! – младшая захлопала в ладоши. – А ты какие знаешь?

– Ну, про подснежник, – Забава поморщилась, – её все знают.

– Какую?

– Весной подснежник расцветёт, – она протянула без выражения.

– Не так! – перебила третья. – Это не про подснежник, а про Кулаву и Радима:

Весной подснежник расцветёт —

Как сердце от любви.

Расступятся и снег, и лёд —

Зови весну, зови!...

– Ну, вместе! Я одна петь не буду.

– Зови весну, зови!

С весною гости к нам спешат:

Тревога, жар, тоска,

Сомненье, стыд и робкий взгляд —

О как любовь сладка!

О как любовь сладка!

Радим с Купавой будто мир
Собрались известить,
Раз в их крови любовь горит —
Зачем её таить?
Зачем её таить?

– Тихо! – всполошилась третья. – Грач идёт!

– А нам-то что? – тихо проговорила Забава. – Мы просто поём... – она уставилась на темноволосого коневода, подошедшего к кузнице с конём в поводу. – «Любовь во взглядах и словах. Уж назван свадьбы час...» – она осторожно промурлыкала.

– Не пой! – её шёпотом оборвали. – Не пой при нём.

– С чего это? – она заупрямилась.

– Не пой и всё. Он – изгой. При нём это не поют. Он как Радим, понятно?

Три пары любопытных глаз одновременно уставились на пришельца. Грач это почувствовал. Он вдруг втянул голову в плечи и ссутулился. Всей спиной, всей кожей и чёрными – не как у людей – волосами он ощутил, что его разглядывают. Утром, выходя из дому, он загадывал, чтобы в кузнице в этот час никого не оказалось – чтоб ни единой души. Как назло, двор полон народом.

Деловитый говор застыл и тотчас возобновился. Так повелось в посадах и в сёлах, что своих приветствуют, не прекращая разговора, а чужих разглядывают, немедленно замолчав. Хуже, когда не замечают. Грач силился сохранить невозмутимость. Закинул узду на свободную коновязь, заглянул в темноту кузницы. Коневод расплачивался с кузнецом – мельком глянул на Грача, поспешно отвёл глаза и скоро вышел. Грач подождал, но при нём никто не входил в кузницу.

– Бравлин, – позвал он.

Крепкий мужик лет тридцати пяти с волосами соломенного цвета поднял голову:

– А, Цветослав! – запарившийся кузнец обнажил зубы. – Сиверко привёл?

– Сиверко, – Цветослав-Грач заулыбался.

Он завёл жеребчика в станок, потрепал по холке, чтобы не нервничал.

– Ну, как – снег не растаял? – в посаде это сделалось любимой шуткой.

Грач усмехнулся.

– Вот я и думаю: пролежит снег до осени, – Бравлин басил, выбирая инструменты, – а там уж и новый выпадет!

– Зимой не занесёт, так весной затопит, – подыграл Грач.

Кузнец выбрал похожую на зубило обсечку, поднял у Сиверко копыто и резкими движениями отогнул барашки – кончики подковных гвоздей. Удалив гвозди, он снял подкову, осмотрел и погладил рукой копыто, немного потёр рашпилем.

– Молодец, – похвалил Грача, – не запускаешь. А общинных коней редко перековывают. Подошвы так зарастают, что копытный рог хоть клещами откусывай.

– Я стара-аюсь, – протянул Грач и опять ласково похлопал Сиверко.

– Хорошее жеребчик. Сколько ему уже? – Бравлин взялся за другое копыто.

– Он четырёхлеток.

– О-о-о, боевой жеребец! А ведь его отбраковали, старшему конюшему не понравился окрас. Окрас у него не ценный, – Бравлин поворошил конскую шерсть на боку. – Разве ж это масть? Одна волосинка рыжая, другая – чёрная!

Кузнец разогнулся и отступил в дальний угол к наковальне. Там долго и молча бил, меняя инструменты и подгоняя подковы. После сунул их одну за другой в снег – тот зашипел и изошёл паром.

– Одна волосинка седая, другая – бурая! – понравилось кузнецу. – Сплошная сивка-бурка смесь с кауркой.

Выбрав молоток, кузнец примерился и несколькими косыми ударами вогнал гвозди так, что концы вышли из стенок копыта.

– Глаз – алмаз! – похвалил сам себя. – Правду скажу, Цветослав: я ни одной лошади не заковал.

– Ещё бы! – поддержал Грач.

Заковка – это болезненная для лошади рана. Это когда гвоздь протыкает копытный рог и вонзается в ногу.

– Угу, и засечек не стало, – кузнец загибал кончики гвоздей барашками. – Отучал его, или конь сам отвык?

– Отучал, – Грач был немногословен.

Случается, при дурно поставленном шаге молодая лошадь сама себе ранит ноги подковами или торчащими барашками. Это и называют засечкой.

– Ну, и молодец, всё готово! – Бравлин отложил молоток.

– Сколько с меня?

Бравлин ничего с Грача не брал, но снабжал его заработком. Кузнец загремел полным мешком котелков и чайников:

– Кое-что из утвари. Кому подлудить, кому подлатать. Ещё уздечку заказали. Для важного человека, для конюшего. Уважь меня, поторопись! В неделю осилишь?

Грач пообещал и, простившись, вывел вон Сиверко. Прищурился от искрящего снега. Навьючиваться на виду у всех не хотелось, он вывел жеребчика за ворота – и тут же расстроился.

Девчонки смолкли и уставились на него. Прямо клеймо какое-то: его чёрные волосы. Это чтобы не перепутали, чтобы знали – вот он, тот самый, с хутора, изгнанный, Грач. Так и имя своё позабудешь – кличка приросла. Чего уставились?

Девицы зашептались и прыснули. Одна, что с волосами поярче, зазывно заулыбалась. Сквозь хихиканье он расслышал: «Забава, может, уговорим его...» – «Прекрати... одну он уже уговорил».

Грач вскипел. Сощурился и стиснув зубы, он затягивал последний узел у громыхающего вьюка.

«Трещат, о чём сами не знают. Они малолетками были, когда это случилось», – он вскочил в седло, хотел промчаться перед их носами, разбрызгивая снег копытами, но вместо этого лишь пробормотал «ходь-ходь» и тихонько пустил жеребчика мелкой рысцей.

Лишь когда выехал за околицу, погнал Сиверко вналёт. Раздражение и досада вырвались наружу.

«Ненавижу!» – сорвался он на самого себя. Вот и по ночам снится, будто стоит он голый посреди избы, полной народу, а все делают вид, что ничего не замечают, что всё в порядке, что ничего страшного. – «Ох, ненавижу!» – говорят, это снится слабакам или же снится от чувства вины – огромной, неисправимой. Вину-то он за собой знает.

– Да пошёл же ты! – Грач изо всей силы стегнул жеребца плетью.

Сиверко вздрогнул от неожиданной боли и помчался быстрее. Утоптаный снег выбрызгивал из-под копыт. Дорога бежала вдоль леса. Слева пронеслись зелёные деревья, меж них мелькало солнце. Встречный ветер охватил Грача и скоро развеял остаток раздражения.

Дорога оборвалась, дойдя до прорубленной в лесу просеки. На краю леса стоял его хутор. Сиверко остановился перед калиткой.

– Вот и молодец, – похвалил Грач, соскакивая на землю.

Соскочив, он увидел, что сжимает ту плетку, которой выместил на жеребчике досаду. Обожгли стыд и раскаяние.

– Прости меня, – сказал он. Сиверко повёл на хозяина глазом. – Не знаю, что на меня нашло. – Сиверко потянулся мордой к плечу хозяина. Грач обнял его за шею. – Ну, пошли, пошли.

На дворе он расседлал Сиверко, завёл в пристроенную к дому конюшню. Проверил подковы, не забились ли в них камешки. Осмотрел в стойле подстилку, не испортилась ли. Досыпал в кормушку сена и собранной с деревьев листвы – другого корма этим летом, может, и не предвидится.

Он думал, не отвести ему ли Сиверко на тебенёвку, не пустить ли на луг или лесную поляну – пусть разгребает снег и достаёт траву. Вон, коневоды свои табуны уже вывели и говорят, что под снегом – сочные травы.

Четыре года назад Грач выторговал у них отнятого от кобылы жеребёнка, неказистого и отбракованного. Сам приучал его к недоузду, к кормушке, к поводу. Заставлял стоять, когда моют, и поднимать ноги, когда чистят копыта. Теперь-то жеребчик хорош – крепок и статен. Как мучился с ним Грач, корм его прямо с земли, с расстеленной рогожи! Жеребчик храпел и возмущался, тянулся и подгибал ноги, изо всех сил гнул шею. Вот потому-то он гибок и строен.

Жеребёнок был норовистый, тянуть с заездкой не стоило. Он в первый же год оказался в упряжи, а скоро и под седлом. Под всадником еле-еле держал равновесие и всё норовил идти боком да кое-как ставить задние ноги не в след передних, а в сторону.

– Си-иверко, – протянул теперь Грач.

Серо-буро-малиновому жеребчику он дал такое имя, потому что был он чёрен как северная ночь, бел как северный снег и рыж, как огонь в северном очаге. А ещё, чтобы жеребчик был скор, как сиверко – полночный ветер.

Грач прошёл из конюшни в смежные сени. С грохотом вывалил из мешка в угол котелки и чайники. Там же в углу лежали его инструменты. На стене – заготовки кожи для сбруи и упряжи. На верстаке давно валялись чурки и нож для резьбы. Хотя резных игрушек у него не заказывают – он же изгой. У верстака – гончарный круг, а на полках – горшки и чашки.

Это тётя Власта просила его сделать горшки, кажется, для цветов. Они сделаны, обожжены и давно разрисованы.

Он долго жил у Власты, ещё мальчишкой, ещё в старом её доме – в Приречье. Потом подрос, Власта перебралась с ним и с дочерью в слободу – в Залесье. В тот год всё Плоского-рье делилось на тех, кто оставался в посадской общине, и тех, кто выезжал на вольные хлеба в слободу. Через пару лет Цветослав оставил Власту и вернулся в Приречье, в развалившийся дом отца.

Власта никогда не судила его за то, что случилось потом.

Кличка «Грач» накрепко приросла к нему якобы за чёрные волосы. А дело было не в волосах. Его мать Сирина была лесной вилой, а не людской женщиной. Отец привёз её с низовий Пучая-реки. Там, в сёлах, где живут вилы, размещали на постой их полковую сотню. Шептались, будто вила окрутила рекрута так, что ему мир опостылел и жить без неё не мог. «Ведьма!» – все так и звали её здесь, в Приречье. Отца корили: привёз-таки ведьму в людские села. А его, сынишку их, прозвали ведьмёнышем, потом и Грачом, чёрной птицей.

Она умела летать. Нет-нет, при людях, чтобы не смущать, она никогда не летала. Разве что потом, уже без отца, когда сердце её рвалось в облака... Когда её тоже не стало, Власта взяла его к себе. Власта никогда не звала её ведьмой.

Грач встрепенулся и, собираясь к Власте, засуетился. Обернул каждый горшочек холстинкой, вложил их один в другой, перевязал. Вышел тугой узелок. Подхватив его подмышку, выбежал с хутора.

Лесная просека вела его к слободе, она виляла здесь так, будто дорогу выбирали не люди с шагомером, а деревенская лошадь, что обходила с телегой все ухабы, рытвины и густые

заросли. Под ногами скрипел снег, свободной рукой Грач отводил от лица зелёные ветки. Странное в этом году лето! Навстречу ему появился из-за перелеска прохожий. Грач, не сбавляя шага, отвернулся, прохожий молча прошёл мимо изгоя.

Чем ближе становилось Залесье, тем больше немел язык и прерывалось дыхание. Так происходило всегда перед тем, как встретиться с Руной. Мерещилось, что за спиной вырастают крылья, а ноги наливаются свинцом. Лес кончился. Когда появились первые дома Залесья, Грач с собой справился. Сейчас он увидит Руну, вон в том переулке, вон через три двора, вот же она.

Руна – это дочь Власты. Она стояла у забора и ловко управлялась с торчащим из сугроба кустарником. Кустарник цвёл. Грач не заметил, какой и какими цветами, но он увидел проворные руки Руны, серую мглу в её глазах и новое платье. Платье настолько сиренево-розовое, что у него ослабел голос.

– Руна, привет, – позвал он как только мог – весело и спокойно.

– Ох, привет, – Руна деловито охнула, подняла голову и откинула со лба прядь волос.

– Заметил твоё новое платье, – выговорил Грач.

– Да ладно, – она отмахнулась, – оно старое. Спасибо, конечно.

Руна стройна, невысока и гибка, как подросток. У неё тёмно-каштановые недлинные волосы и серо-зелёные глаза. Сегодня она чем-то недовольна, поэтому глаза туманятся серой дымкой, а если бы она засмеялась – в них бы засветились золотисто-зеленые искры.

– Я с подарками, – Грач бодренько стал развязывать свой узелок.

– А, это горшки для мамы, – признала Руна. – Спасибо, ей понравятся.

Хотелось-то, чтобы понравилось Рунке. Грач хмыкнул. Он развернул, извлекая на свет первый, самый удачный горшок.

– Смотри какой! Для тебя делал, – Грач в самом деле гордился собой, как мальчишка.

– Спасибо, – Руна вежливо поблагодарила.

Блеснуло стекло, окно в доме отворилось, раздался голос тёти Власты:

– Руна, кто там пришёл?

– Это Цветослав! – откликнулась Руна. – Ма-ам! Горшки заберешь? Цветик принёс.

Власта показала на крыльце.

– Ой, Цветик, спасибо тебе! – Власта говорила чуть в нос, низковатым голосом. – Ух, ты!

Один другого лучше, – похвалила, приблизившись. – Да ты на все руки мастер!

Расставленные на снежку и на солнышке горшочки были вполне недурны собой. Грач снисходительно улыбнулся. Потом понял, что давно пристально смотрит на Руну и никак не может отвернуться от серых с желтизной глаз и длинных ресниц. Почему-то он всегда цепенел, рассматривая её.

– Цвет, я уморила тебя этими горшками? – голос Власты вывел его из оцепенения. – Ты прямо спишь на ходу.

– Нисколько! – он встрепенулся и отступил от забора, якобы собираясь уходить. – Я в знак глубокой привязанности, это подарок вам и... Руне.

– Ой, ну спасибо, я очень рада, – польщено протянула Власта. – Ты нам как родной, – напомнила, – столько лет с нами жил.

Грач вопросительно посмотрел на Власту.

– Мы с твоей матерью были близки, – проговорила Власта. – Сирина мне как сестра была, ты знаешь. Это хорошо, что вы с Руной... так дружите.

– Конечно, – недоумённо выговорил Грач.

Сейчас было сказано что-то весьма важное и значимое. Была поставлена какая-то грань, проведена черта. Какая, не ясно, но что-то неуловимо вставало на свои места.

В конце переулочка появились две девицы, и одна из них протяжно позвала:

– Ру-уна-а!

– Сейчас! – Руна с досадой поморщилась. – Цветик, ты извини, ладно? – она заговорила вдруг ласково, почти нежно. – Мы с девчонками собралась к лавочнику, они уже ждут.

– Ну да, иди, конечно, – Грач не желал отпускать её, встреча вышла такой бестолковой.

– Я зайду к тебе, – вдруг нежно пообещала она. – Потом. Обязательно.

Она подала руку, и он пожал её прохладные, мягкие, чуть влажные пальцы и отпустил.

Те две девицы подошли и пренебрежительно окинули Грача взглядами. Он напрягся. Сжал губы и медленно отступил в сторону.

– А со мной поболтать уже не хочешь? – спасла его Власта.

Надо бы остаться, поболтать с ней, почти родной тёткой. Изгой это не зазорно. Да как назло заела давно знакомая тоска.

– Да нет, – обронил он, – извините.

– Ладно, ступай, – отпустила Власта и о чём-то вздохнула.

В одиночку он пересёк Залесье. Здесь не было общинных дворов и приказных изб как в посаде Приречья. Здесь – слобода, личные усадьбы, богатые и не очень, подворья, конюшни, крупные и не очень. Не очень – это так, как у Власты.

Слобода кончилась. Грач свернул на тропу к липовой роще. Там, в роще, начиналась река Смородина. Снег возле неё лежал пышный, нетоптанный – ходили туда редко. В роще Грач в прошлый раз виделся с Руной. Она сказала, что любит деревья и любит красивые вещи из дерева.

– Надо было сделать ей ларчик, а не какие-то глиняные горшочки...

«Зорька в небе заалеет,
С красотой твоею споря.
Мог её я не заметить,
Зорьку, ночкину сестричку.
Звёзды в небе засияли,
Как глаза твои сияют.
Мог и их я не заметить:
Что мне звёзды – ты со мною!
Мог. Но я зорю и звёзды
Замечаю и, как вечер,
Только их красой люблюсь —
Значит, нет тебя со мною...»

Грач горько усмехнулся: когда-то он написал для Руны стихи, так много стихов, что их можно было бы читать целую ночь. Он не сказал ей о том ни полслова – не верил, что стихи можно будет прочесть. Изгой – это изгой, она не обрадуется. Когда она недовольна, глаза у неё туманятся серым, а когда засмеётся – в них зелёные искры. Не знаешь, когда и краше! А смех ей идет. Когда она смеется, у неё нежнее взгляд, у неё трепещут губы и видны зубы с чуть-чуть неправильным нижним резцом. Нет, изгойю надо иметь избыток самомнения, чтобы посметь так влюбиться.

Шесть лет назад посадские судьи зачитали ему поражение в правах. А прошедшим летом – это было перед самой осенью – Грач почувствовал, что дыхание Руны кружит ему голову: ткань, что поднималась на её груди при вдохе, заставляла его трепетать. Руна на несколько лет младше, к ней он привязался, когда она была ещё девчонкой. Ему нравилось общаться с ней, выслушивать её глупости. Внезапно понял, что хочет слышать её смех, рассматривать её черты, касаться её... Прошлой осенью, одним ветреным холодным вечером, он признался себе, что жить на опостылевшем хуторе без Руны уже не может.

Когда-нибудь он решится, признается. Нет, Руне он небезразличен. Она наверняка влюблена в него, просто не может сказать – девушки не должны объясняться первыми! Неужели ему придётся краснеть, дарить цветы, запинаться, просить взаимности? Пусть бы она поняла всё сама – так было бы легче.

Вот, сегодня пообещала: «Я зайду к тебе. Потом. Обязательно». Грачу захотелось подпрыгнуть выше деревьев.

«Мне бы сделать для неё подарок, – подумал Грач и медленно побрёл по липовой роще. – Ей можно, например, вырезать из липы серёжки. Тонкий древесный завиток, почти кружево, мягкое и ранимое, как её ушко. Ведь никто не скажет, что это предосудительно! Ну, или браслетик из липовых звеньев. Ну да, браслетик ей на руку – как знак обручения. Тогда и колечко? Что скажут люди и старосты...»

Он покачал головой: нет, здесь ни одна ветка не годится. Он стал выбирать ветку на другой липе. Присматриваясь, побрёл дальше. Ветку ему надо не толстую, не зачерствелую, но такую, чтоб из неё вышли и кольцо, и браслетик, и серьги. Он углубился в рощу.

Обычно здесь слышно, как журчит речка Смородина. Сегодня она стянута льдом, как и всё Плескогорье. Журчанья не слышно. Отсюда начинаются две великие реки – Пучай и Смородина. Они будто двумя руками обнимают сёла и города Рода Людского. Интересно, а там растаял ли снег?

Грач выбрал подходящую ветвь, упругую и с молодой корой, не заметив, что сам оказался у Смородины. Речушка под ногами – мелкая, в три шага перейдёшь и колен не замочишь. Но лёд под ногой треснул, и Грач еле отскочил прочь.

Что это? Сейчас показалось, что кто-то едет: вроде бы снег закрипел под копытами. Нет? Померещилось? Поодаль поднималось заросшее липами всхолмье, речка огибала его с одной стороны, дорога – с другой. Зафыркали кони, погромела и позвенела навьюченная поклажа. Кто это – коневоды? Нет, кто-то поднялся на Плескогорье снизу. Купцы, коробейники? Но те приходят из Карачара, с другой стороны. А это – путь из Калинова Моста.

Из-за всхолмья показался всадник, за ним ещё двое, потом ещё несколько. Ратники! В последний раз Грач видел ратников лет десять тому назад, в те самые времена. Всадников было человек пятнадцать. Ехали они на измученных, загнанных конях. Грач – коневод, он сразу это определил. У лошадей, как по военному отбору, одинаковая караковая масть. У всадников на головах кольчужные сетки, а шлемы приторочены к сёдлам. С боков – зачехлённые луки. Доспехи в дорожной пыли, плащи изодраны и грязными лохмотьями висят по конским крупам. За сёдлами, полускрытые лохмотьями, торчат тугие, наполненные добром вьюки.

Караван поравнялся. Сойдя с дороги, Грач разглядывал пришельцев. Три всадника отделились и закружили около него, вспахивая снежный наст в опасной близости – всего-то на вытянутую руку. Узорчатая дорогая сбруя никак не вязалась с избитым видом пришельцев. Грач про себя отметил, что кони не местных пород. Скорее всего, степные – длинношеие да с узкой сухой головой.

– Эй, чернявый! – первый всадник окликнул с ленивой грубостью. – Это что – Плескогорье?

– Ну, всегда было, – в тон бросил Грач, разглядывая копыта: ковка у коней была отвратительной, подковы не по размеру. Так бывает в походной полковой кузнице.

– Что?! – всадник якобы не расслышал.

– Плескогорье! – огрызнулся Грач.

В молчании всадники покружили около Грача ещё.

– Ты – коневод? – окликнул всадник чуть напряженно. – Нож в руке – зачем?

Грач поднял глаза, увидел рыжую бороду и красные скулы ратника.

– Липу в роще резал... – Грач нахмурился.

– Липу в роще? – неприятно вскрикнул всадник. – Зачем? – он странно забеспокоился.

– Я – резчик.

– Так коневод или резчик?! – всадник не поверил. – Ты – лешак? Слышишь, чернявый!

Всадник потеснил Грача грудью коня. Мигом вспомнились бабкины рассказы, как в прежние времена проверяли полукровок на нечистоту. Его родная мать, вила, в жизни не приближалась к лошади – говорила, что ей грудь щемит. Близко-то подпустит не-человека только лесной зверь, а не конь. Грач назло всаднику выкинул перед мордой коня руку. Лошадь шарахнулась, всхрапывая.

– Ведьмёныш! – ругнулся всадник, отступая.

Вообще-то, не стоит пугать лошадей, когда тебя проверяют на нечистоту. Но всадников, кажется, как раз это и убедило. Они отъехали.

Весь караван прошёл, и только двое ещё задержались. Один с высоты седла, вывернув шею, рассматривал Грача. Приятельски цепкий, чуть нагловатый взгляд. Тонкие, сжатые губы, которые, кажется, должны иногда приоткрываться скалящиеся зубы... Всадник откинул с головы кольчужную сетку, растрепал жёлтые, белесоватые волосы.

«Соловый», – вспомнилась Грачу такая же масть лошади.

– Златовид, это ты, что ли? – с недоверием выговорил Грач.

Желтоволоосый всадник одной половиной лица скривился и с натугой расхохотался:

– Цветослав, я смотрю, ты или не ты, – Златовид в шаге от Грача спрыгнул с лошади. – Так, здорово же!

– Зла-ат! – у Грача прорвался смешок. – Разбойник.

– Разбойник и есть!

Злат кулаком ткнул его в плечо. Они обнялись, стуча, как водится, друг друга по спинам.

– Пять лет, – посчитал Злат. – Или шесть прошло?

– Вроде того, – согласился Грач. – Тебя где носило-то?

– А я думал, ты к вилам подался, в матерние села... – это было сказано так легко и непринужденно, но на вопрос Злат не ответил. Грачу это почему-то не понравилось.

– Я – изгой. Меня выселили.

– Свины, – Злат сказал это без всякого выражения. – Я наведу порядок, – пообещал. – Наведу. Видел? – он кивнул в след уходящим ратникам.

Грач настороженно проводил их глазами – серых, избитых, с добром за спинами.

А Златовид неожиданно напомнил:

– Ты сам остался. Со мной не поехал.

– Ты и не звал.

– Сам виноват, – перебил Злат и колупнул снег носком сапога со шпорой. – Это что у вас – заморозки?

– Снег не сошёл, – пояснил Грач. – Ещё с зимы. Наведёшь порядок?

Златовид разволновался:

– А кони? Кони как? Без корма?

– На тебеневке.

– Ч-ч-чудо природы, – Злат был раздосадован. – Как не вовремя, не кстати...

– Старики говорят, это не к добру, и быть великой беде.

– Старики твои, – Златовид обозлился, – каждого поскреби – всё упыри да ведьмы! – он стеганул плетью по снегу, тот взвился белыми искрами.

Ведьмами и упырями обзывали чужих. Грач поморщился.

– Я – ведьмёныш, – напомнил сквозь зубы.

– Цветик, – Злат поостыл, – ладно тебе. Где твои выселки?

– После Залесья.

– Садись, – Злат подвёл жеребца и вскочил на него. – Садись позади, я не навьючен.

Жеребец этот был тоже караковым, тоже усталым и загнанным. У него на передней ноге бурела зажившая резаная рана.

... Вот так и несутся кони: вихрь, дробь и топот. Кони крылаты, только крыльев никому не видно. Где и когда неслись эти кони? Как мечты, как мысли, как сны и желания. Кажется, с той поры миновали те самые шесть лет. Наверняка Грач этого не знал. Быть может, кони летели в мечтах, быть может, в чужих принесённых сегодня воспоминаниях.

Всадников и тогда было семнадцать – столько, поскольку им лет. Свежий воздух бил им в лица и пьянил сладостным восторгом. Весна – трудная пора для молодых: то сердце шемит, то грудь тянет, то рвёшься, не ведая куда, точно вон из собственной кожи. Так лошадь несётся, не разбирая дороги, как сумасшедшая, едва повод отпустишь. Весело!

Звенели трензельки в уголках лошадиных губ, звякали медные репейки на шпорах. Всё сливалось в дурманящую музыку, хотелось подняться в стремях над дорогим седлом с высокими луками, над расшитым узорчатым потником и в скачке вертеть над головой чужую присвоенную саблю. Вожачок так и сделал.

Их ватажка безоговорочно признала его вожаком – уже давно, не первый день. Смеясь, он обнажил зубы, некрасиво вывернув верхнюю губу и ноздри. Кони огибали овражки и всхолмья, текли вдоль чьих-то полей, распашек, всходов и изгородок. Дышалось весной, свободой и полем. Вожак опять рассмеялся.

– Зверёныш! Чего ты скалишься?

Это Ярец, он скачет слева на крапчатой лошади.

– Привычка! Забаву чую, – Зверёныш дёрнул головой.

А ведь Ярец прав: надо отвыкать кривить губу. Вот уже и кличка прилипла, а это уже особая примета, почти что метка для розыска.

Ярец, он годом всех старше, а ведет себя и выглядит, как самый молодой. Телёнок, а не пацан – губы толстые и рыжие волосы выются. Держится всегда слева. А справа от Зверёныша – Путьша-Кривонос со сбитым на сторону уродливым носом.

– Путьша-Кривонос, где взял кривой нос?

В ватажке сдавленно захихикали. Путьша был туповатый парень, проще говоря, пенёк. Заезженную шутку мусолили в сотый раз, а он всё попадался.

– Дык, от папашки достался. Он и наградил... – прогудел Путьша. Ватажку душил хохот.

– У папашки твоего нос ровненький, гладенький, – ласково напоминал Зверёныш. – Ну, только сизоват слегка. Ты что же – не от него уродился?

– Дык, папашка руку приложил!

Грохнул хохот, все заржали, зная наперёд слова Зверёныша:

– Так ты, Путьша, выходит, пальцем делан, да?

– Дык, в руке кружка у него была... Деревянная, а я малой совсем...

Путьшу не слушали, давились хохотом. Зверёныш ещё пробовал сквозь смех выговаривать:

– А на кой ты подставлялся, Путьша?.. А кабы он тебе не нос, а чего пониже на бок-то своротил – чем бы сейчас девок портил, а?

Путьша молча соображал под хохот. Только туда-сюда потянул повод, чтобы конь не крутил головой.

– Дык, а я его трезвым и не помню, – прогудел ещё раз. Потом, уловив, что всё это хохма, сказал беззлобно, даже ласково: – Козлы вы все. Ну, и козлы же. А?

Парни ржали. За спиной остались распашки и посевы с наклонившимися изгородями. В стороне лежали луга и овраги, поблескивала петляющая меж косогоров речка, такая мелкая, что вброд перейдешь и стремян не замочишь. Ни одной роши или перелеска. Сторона чужая, всё непривычно.

– Парни, узнайте, что за холмом, – приказал Зверёныш. – Быстро!

Трое отделились и понеслись вперёд. Остальные попридержали коней. Зверёнышу нравилось им приказывать, а ещё нравилось, что они ему подчиняются. Дозор поднялся на холм, развернулся и полетел вниз.

– Опаньки, что-то есть, – Ярец вытянул шею.

– Забава, – Зверёныш опять ухмыльнулся, выставив зубы и вывернув губу.

Всадники вернулись. Один, размахивая рукой, прокричал:

– Ну, там – речка! А у мостка купец застрял, колесо потерял! Безлошадный – возок такой маленький, чтобы самому тащить.

– А почему безлошадный? Забава! – решил Зверёныш. Подсвистнув коней, всадники потекли вокруг холма, обогнули и высыпали на бережок с мелководьем, на песчаную отмель у деревянного мостика.

Двухколёсный возок перегородил въезд на мосток. Не возок даже – крупная тачка с оглоблями. У колеса на карачках суетился толстый купчик с сыном-подростком. В возке валялась солома – так перестилают глиняную утварь, когда везут на продажу.

– Здорово, торгаш! – Зверёныш начал забаву. Всадники закружили вокруг да около, растапывая отмель и разнося песчаный бережок в грязь.

– Добрые люди, честные люди, – заёрзал купчик, зябко кутаясь в стёганку и то роняя, то подбирая снятую шапочку. Седенькая макушка вдруг залоснилась от пота. – Ой, здоровычка вам и... доброго здравычка, – запутался купчик.

Сынок его глянул волчонком из-под овчинной шапки и ничего не сказал. Проклятое колесо никак не вставало на место. Может быть, разрушилась ступица...

– Дядя, а переправа-то здесь, разве, не платная? Ой, что-то сборщика нигде не видно. Ты сборщика-то порешил, признавайся?! – парни скалились, весело поглядывая с сёдел.

Толстяк попытался засмеяться, а потом взмолился:

– Хе-хе-хе... Ну, добрые люди, много ли с меня возьмете, ну? Вон вас-то сколько, на всех-то и не хватит... С меня что взять? Другого кого поищите, а?

– А мы проверим, – Зверёныш наклонился, вытянул из ножен саблю и стал ворошить ей в возке сено. Сталь карябала по голой доске – и ничего более.

– Ты, дядя, часом не упыряка? – догадался кто-то. – Почему возок безлошадный? Где твоя лошадь?

– Дык нечисть он! – позже всех сообразил Путыша. – А ну выдь из-за возка и моего коня потрогай! Выдь, кому говорю!

Купчик бухнулся в ноги и, оборотясь к Зверёнышу, стал упрашивать:

– Добрый хозяин, помилуй! Добрый хозяин, спаси! Век помнить буду, – а сам всё бил себя в грудь, но вот только руки держал сжатыми в кулачки. Зверёныш с подозреньем прищурился.

– Пальцы мне покажи, – Зверёныш потребовал.

Шустрыми ручонками купчик вдруг что-то выхватил из-под сена и сунул пацану сыну.

– Беги!

Тот, придерживая баранью шапку, припустил по мостку.

– Держи, держи его!

– Кошелек ему отдал! Уйдёт.

Возок перегородивал въезд на мосток. Всадники носились вдоль отмели, не смея сунуться вброд. Купчик присел за оглоблями, готовый уже ко всему. Кто-то – Зверёныш так и не понял, кто, Путыша или кто-то из его подручных – выхватил лук. Мальчишка был уже на том берегу, всадник привстал над седлом и выстрелил. Мальчишка упал в кусты.

– А-а!!! – завопил отец, выдернул из-под сена жердь и полез на кого-то.

– Эй! – вскрикнул тот, кто получил по спине жердью. – Уймите его!

– Бей! Да бей же его! Он дерётся.

– Кистенём, кистенём его.

Купца кое-как убили. Труп с вывернутой шеей и разбитой головой валялся на мостках. Ярец что-то шевелил телячьими губами, оторопело глядя на труп. Зверёныш злобно оскалился и, отхаркнув, сплюнул. Парни слезли с сёдел, приподняв, сошвырнули возок в воду. Мосток открылся, Зверёныш мимо тела проехал на ту сторону. Конь, чую кровь, в возбуждении фыр-кал.

Мальчишка был жив, стрела торчала у него из бедра.

– Надо же, – сказал кто-то, – а я метил в подмышку.

Зверёныш ударил саблей, добил и, брезгливо кривясь, вернулся на свой бережок.

– Зачем? – Ярец слез с коня и чуть не плача глядел на Зверёныша. – Зачем мы его? Это же забава. Он был добрый, смешной и толстый. А мы его так – зачем? Чего он сделал-то, а?

Кто-то из ватажки, пересилив себя, морщась, подошёл к трупу, разомкнул ему кулачок и поднял вверх руку с болтающейся кистью.

– Смотрите! – на пальцах купчика вылезли коготки. – Это упыряка.

– Не упыряка, а лобаст. Это лобасты с когтями.

– По мне один хрен.

– Ну и что, – не унимался Ярец. – Ну и что, ведь он безвредный. А мальчишка?

Зверёныш загарцевал на коне. Что ему ответить? Кто-то сбегал на тот берег, нашарил у мальчишки кошелёк. Когда принесли, Зверёныш, не глядя, сунул его под седло. Серебра у них было уже предостаточно.

Дальше поехали тихо. Без игр, без хохмы и веселья. Кривые изгородки, жалкие входы, неглубокие мотыжные распашки одна за другой плыли мимо. Воздух, обернувшись ветром, пошевелил желтоватые волосы. Зверёныш оскалился:

– С каждым разом всё гаже и гаже, – решил он.

Двое на него оглянулись: Путьша недоуменно, а Ярец внимательно. Это были последние слова, когда Зверёныш был откровенен со своей ватажкой. Впереди открывалась жизнь, полная свободы, неподвластности и, кажется, ненужности. И она, эта жизнь, ему, семнадцатилетнему, очень не нравилась.

Глава II

– Наймусь! – кричал посадский парень в овчинной шапке. – Конюхом, пастухом, в ночное! – парень размахивал открепительной грамотой от посадской общины.

На дворе коновала – гул голосов, то тут, то там вырывались куски разговоров:

– Соседушка, как в давешний год, ладно? Твой жеребчик к моим кобылкам, а мой – к твоим, договоримся?

– Два косяка, хорошо будет... Ладно уж.

Лето близилось странное, нелепое, но упускать его и лишаться приплода никто не хотел. Коновалов двор и слободская площадь за ним заполнились народом. Коневоды, несмотря на снег, приготавливали к летней поре табуны.

– Венцизслав! Венциз! – коневоды, оглядываясь, звали именитого конновладельца.

Венциз появился, да не один, а с двумя приказчиками.

– Пустил бы к себе на новый луг косяк, всего восемь голов...

– Мой луг – моя цена, – Венциз был молод, но важен, он уже подсчитал выгоду. – В неделю выпаса четверть золотника с лошади.

– Два золотника за один только-то выпас? Каждую неделю? – оторопели коневоды.

Венцизслав был спокоен. Приказчики записывали имена в книжках.

Какой-то слобожанин в вышитой рубашке подскочил к ним:

– От Изяслава есть приказные? От лешака старого. Пришёл хоть кто, нет?

На зов появился конновладелец, уже не молодой, с окладистой бородой и с животом, вылезшим из-за пояса. Слобожанин, увидав, в миг переменял голос:

– Ох, Изяс, Изяславлюшка, мне бы жеребчика твоего, производителя. Допустил бы, сердешный, кобылок моих расхолостить.

Изяс нахмурился, покрутил бородой и отомстил за «старого лешака»:

– Я за одну садку золотник беру. А коли у других дешевле, то к другим и иди, а мои кони ценные. Породистые!

Венцизслав тихо взял его за кушак, потянул:

– Изяс, – окликнул, – ты о жеребцах-то со мною договаривался, – напомнил.

Изяс обернулся, сложил руки на животе.

– А с тебя, мил человек, вот, именно с тебя возьму по пяти золотых. Не обессудь!

– Да как же это? – даже Венциз оторопел. – С других – по одному?

– А у тебя, мил человек, свои кобылки ценные, породистые. С моими жеребцами сведёшь – какой же приплод получится? Э-э, я себе убытков не желаю. Захотел мне на рынке соперником стать – плати.

– Ну, ты и лешак-ак! – протянул Венциз.

– Лешак! Лешак! – закричали слободские. – Ворюга!

– Нечего лаяться, – Изяс нахмурился и уступил-таки: – Ладно. Давай по четыре и три четверти.

Венциз, досадуя и крепясь, качнул головой, конновладельцы пожалы руки.

– Ра-атники едут! – ни с того ни с сего заполошно закричал посадский парень с открепительной грамотой.

Слобожане сперва ничего не поняли. Завертели головами, умолкая. Увидели. Со стороны речки Смородины в слободу въезжала цепочка грязных вооруженных людей в драных плащах. За плечами у них расчехлённые луки, у бёдер – открытые колчаны со стрелами. Первый всадник держал снятый с головы шлем луковичной формы, у него – светлые, изжёлта-золотистые волосы. Кое-кто с трудом, но вспомнил такие, другие узнали Грача, изгоя с хутора – он сидел

за спиной у всадника. Недоумение сменилось настороженностью, а настороженность – проблеском тревоги.

– Здорово, плоскогорцы! – басок у Златовида ладен и хорошо поставлен.

Никто не отозвался. Те, у кого память сработала быстрее, постарались затолкать дочерей за спины. Златовид озирался, дожидаясь ответа.

– Сколько лет я здесь не был! – крепкий голос Златовида как будто смешался с тоном балаганного зазывалы или шута. – Вернулся посмотреть, не забыли ли? – шутовская игра мешалась в голосе с чем-то жёстким.

Снова молчание. Грачу с крупа лошади было видно, как самые дальние начали рассасываться с площади по своим дворам и переулкам. Злат прошипел себе под нос:

– Лешачье семя... Я вам напомню.

Он тронул повод, и лошадь тихо прогарцевала по площади, оттирая собравшихся крупом и стремями. Злат высматривал кого-то знакомого.

– О! Я смотрю, кто такая – молодая-красивая? Тётя Власта!

– Ну, здравствуй, Златовид, – Власта сжала губы. Она помнила и пацана Златовида, и прежнюю их ватажку, да вооружённых чужих ратников никто с ним как-то не ожидал.

Златовид прищурился, чуть подогнав лошадь.

– Венцизсла-а-ав! – увидал он знатного коневода. – Ты – Венциз, да? Не обознался? Заматерел! – похвалил он с непонятными нотками. – Важный стал. А мы, почитай, погодки с тобой...

Венциз был старше лет на десять, но все промолчали. Венциз, глядя снизу вверх, сощурился, и взгляд всадника выдержал. Златовидов конь, проходя перед людьми как по цепочке, уже сделал полный круг по площади. Злат вглядывался в лица плоскогорцев. Лица были встревоженные, неприветливые.

– Увидимся, коневоды!

Златовид свистнул и помчался по главной улице. Всадники с гиком потекли за ним следом. На скаку Злат выхватил саблю и стеганул по попавшемуся плетню, разрубая его сверху донизу. Но тотчас вскинул вверх руку, запрещая дружинничкам делать что-то подобное. На конце слободы близ просеки он приостановился. Конь под ним заплясал.

– Где, ты говорил, твои выселки? – голос его дрожал, как от возбуждения.

– На том конце, – Грач показал, – за Навьим лесом.

– Это наш лес, – неожиданно отрезал Злат. – Последняя навия издохла здесь полвека назад, – он дал коню шпоры и с улюлюканьем понёсся по просеке. – И-и-эх, сколько лет, сколько зим, родное Плоскогорье!

Всадники полетели за ним. Снег взвился стеной из-под шести десятков копыт, а запорошивший просеку наст повис туманно-белым облаком и укрыл цветущие берёзы.

За лесом у хуторского плетня всадники сдержали коней и спешили. Златовид поверх изгороди разглядывал хутор.

– Так... Образчик плоскогорского хозяйства?

Грач так и не понял. Кажется, Злат похвалил его хутор. Грач, придерживая ворота, пропустил всадников с лошадьми на двор. Злат продолжал оглядывать сруб и пристройки.

– Цветославка! – Златовид позвал. – Баньку бы людям с дороги. Есть у тебя? А то устали бойцы, грязью заросли, хуже упырей болотных.

Всадники развьючивали лошадей, тугие тюки шуршали и позвякивали.

– Баня-то есть, – Грач не спешил, – и места в доме хватит. У меня только конюшня мала.

– У тебя есть кони? – Злат встрепенулся.

– Жеребчик один, четырехлеток.

– М-гм, хочу посмотреть!

Грач кивком показал, где стояло Сиверко, а сам остался присматривать за дружинничками. Они не коневоды – это видно уже по тому, как они обращаются с лошадьми. Не вываживают после бега, не дают остыть. Сразу на ветру взялись расседлывать да развьючивать. Так и застудить коня недолго. Вьюки им важнее.

– Хозяин, эй, – русоволосый красавчик, один из тех, что испытывали его на нечистоту, поплёскивал шитой золотом перевязью поверх старой кольчуги. – Лошадей куда девать?

А кольца-то кольчуги помяты да кое-где раздроблены, особенно по плечам и на боку, точно седока крюком тащили с седла да били палицей...

– Три встанут в конюшню, – определил Грач. – А другие – извини! – в мастерскую или в баню, когда остынет...

Красавчик приблизился.

– Верига, – назвался он, не подавая руки и держа их на поясе.

– Цветослав, – он холодно ответил. – Для посторонних – Грач.

– М-гм, – Верига отошёл к вьюкам.

Пока Злат далеко, за старшего оставался другой – рыжебородый. Тот лично осматривал каждый вьюк. Сам и решал, куда и что заносить. Грач подошёл ближе. В непромокаемой грубой рогоже были завернуты отрезки тонкого шелка и атласа, конская сбруя с серебряными заклепками и разные безделушки: зеркальца, шкатулки, нитки бус. Вещи второпях проносили мимо и складывали в сених вдаль от чужих глаз. Два дружинничка тревожно поглядывали на просеку и на дорогу.

– Отличный-то жеребец! – Злат незаметно подошёл сзади. – Ну и стать, ну и гибкость, – он смаковал восхищение. – Здесь много таких, это порода?

– Это уход, – Грач обронил. – Здесь лучшие табуны у владельца Изяслава с Залесской слободы. Да есть неплохие особи в посадской общине, там старшим конюшим теперь Гоеслав.

– Изяслав из Залесья, да? – Злат запоминал, переводя взгляд с одного зрачка на другой. – И конюший Гоеслав, наш дядя Гоес, помню, помню...

Дружиннички занесли в дом последние вещи. Из разодранного тюка волочился по снегу золотой пояс.

– Откуда всё это? – Грач спрашивал о вещицах. – Дорогое?

– Так ведь дешёвое-то кому нужно? – Злат выпрямил спину. – Скурат!

Рыжебородый высунулся из дверей.

– Скурат, займись Цветославом. Помоги баню растопить. Два месяца не мылся, склизкий хуже водяного... – Злат судорожно вздохнул, поёжился и пристально поглядел на Грача: – Ведь ты наш, Цветик, это правда? – спросил с расстановкой.

Вечером дружиннички закатали пир. У Грача нашёлся бочонок браги и припасена была в леднике баранья туша. Дым стоял коромыслом. Люди словно истосковались по гульбе и веселью. К ночи все были пьяны, половина вообще не вязала лыка. Шум и галдёж рвались в поле из дома. Каждый, будто намолчавшись, отводил душу, нёс что-то своё, для себя одного. Грач не понимал ни слова кроме бессвязных обрывков про пиры у вождя, про удаль в степи и, кажется, про драки с упырями и с лешими.

– А вы не скучали, – заметил Грач.

– М-гм, нам не довелось, – буркнул Златовид и, прикрыв глаза, затянул плоскогорскую песню:

На солнце панцири искрят,
И ждут богатыри,
Когда к сраженью протрубят,
Чтоб биться до зари.
Чтоб биться до зари.

Той распри позабыт исток.
Кто – ближний? Кто – чужой?
Остался в поле друг, браток —
Ну, как найти покой?
Ну, как найти покой?

«Радим, она – чужая кровь».
«Купава, он – не наш...»
Ах, песнь стара и стих не нов,
Так было и до нас...

– Так было и до нас! – со злостью подпел Верига и врезал кулаком по столешнице.

Песня оборвалась. Со стола слетел и раскололся кувшин. Грач поморщился, а пьяный Верига вылез на середину горницы и решил сплясать, колотя в пол сапогами. Пятеро дружков поддержали его. Ободрённый он полез плясать перед Златовидом, сунулся к нему обниматься, но тот заворчал недовольно, оттолкнул его и рявкнул:

– Давай там пляши!

Спьяну Верига не устоял, опрокинулся и чуть не заехал Грачу локтем в лицо. Грач успел перехватить его руку. Выше локтя у Вериги была нашивка из кусков чёрной ленты – вроде бы три стрелы. У остальных – такие же. Златовид сделал знак, и рыжебородый Скурат завёл бодрую походную песню:

Меч – из ножен, лук – на изготовку!
Сможем мы за дело постоять.
В том бою проявим мы сноровку
С плеч нечистых головы срубить.

– Златик! Эй, Златовид, – Грач и сам был навеселе. – А кто вы, слышь? Кто вы все?

– Мы-то? – Злат любовно погладил нашивку на рукаве. – Мы – Вольховы стрелки. Запомнил?

Грач приподнял бровь, но Злат уже второй раз не стал объяснять недосказанное. Злат блаженно потянулся, привалился к стене и мечтательно проговорил, растягивая слова:

– А помнишь, Цветославка, как мы пацанами резвились, как из табуна лошадей угоняли?

Грач только хмыкнул с досадой:

– Потом носились среди ночи с огнём по всему посаду. С воем, гиканьем и в белых простынях.

– Да, и в чёрных масках, – Злат искренне радовался, вспоминая детские шалости. – А избу запалили? – припомнил. – Чья изба-то была? Я уж забыл.

– Так ведь Гоеса, – стал раздражаться Грач, – ну, теперешнего старшего конюшего. Он всё мне припомнил.

Златовид заржал, запрокинулся и задрывал в воздухе ногами.

– Ах, дядьки Гоеса! Вот зараза, я же собрался завтра с ним разговаривать.

Он веселился, и Грач захотел сбить с него напускную радость.

– Чаику помнишь? – спросил он.

– Чаику? – Злат повторил и вдруг поёжился. – Бедняжка. А, впрочем, ну и что? Да ты и сам не отставал. Твою-то зазную как звали? Ну, эту, сестрёнку нашего знаменитого... как его? Зараза, всех позабыл.

Грач стиснул зубы и промолчал.

Один из дружинничков, самый молодой, вдруг истошно провыл на всю избу:

– О-ой, девку бы мне сейчас! Пройду, поищу по деревне, как бывалоча.

– Добеслав, а ну не сметь у меня! – рявкнул Златовид, горлом перекрывая весь гомон пирушки. – Кто на что-то поганое сунется, яйца поотрываю! Здешние дворы мне нужны мирными, – Злат тотчас спохватился, подмигнул Грачу, сбавил голос: – Эх, Цветик-Цветослав, так то грехи юности. Что с ними сделаешь? Не воротишь, не поправишь. Плюнь и забудь.

Грач невразумительно хмыкнул и пожал плечами.

– Где ватажка-то наша? – после спросил невзначай. – Где Путьша, где Ярец?

Злат точно окаменел. Вытянул белые, как оледеневшие губы, и выговорил:

– А порубали их, – он показал ребром ладони, как шинкуют капусту. – На реке Смородине. Сорок дней уже миновало.

– Как это? – обмер Грач. – Как порубали?

– Топориками, – объяснил Злат. – Тук-тук-тук, – он явно скоморошничал, сдерживая дрожь. – Сам Гвездояр вёл... Ловушка! Полтысячи было... Всех до последнего.

– Какой Гвездояр?

Вопрос поплыл в воздухе и потонул в общем гомоне. Переспрашивать Грач поостерёлся. Злат успокоился, взял себя в руки, остыл.

– Нечисть кругом развелась, Цветолавлюшка, – Златовид сказал, как простонал. – Куда ни сунься – всюду то лешаки, то упыри, то ведьмы с кикиморами. Они же целыми сёлами живут. А в городах – улицами! Чистых людей не осталось. В кого ни кинь – либо дед был лешаком, либо бабка кикиморой. Не кривись. Я не про тебя, ты не в счет, ты – наш.

Грач недовольно крякнул и оскорблено выпрямился.

Стрелки пытались петь и веселиться ещё, но всё чаще выбегали во двор на холод, чтобы остудиться. Иные просто падали вдоль стен на лавки. Добеслав лёг прямо в сенях у порога, два стрелка подмышки отволокли его в горницу.

– Не суди их, Цвет, – Златовид с участием глядел на них, но не вставал с места. – Они заслужили. Каждый из нас имеет право на час забытья.

– Златовидушка, ты же уезжал к Нилу, в ученики к старцу, – вздохнул Грач. – Кто же ты теперь?

– Так был я у Нила, – поморщился Златовид, – только старенький он, Цветушка. Годков ему сто, а то и больше, – он мягко показал на голову.

– Что? – насторожился Грач.

– Я думал, что он шутит или заговаривается. Потом гляжу: вовсе нет, его используют, чтобы морочить нам головы. А мы им восхищались... Он не из чистых людей, он из убургского племени. А убуры сейчас главные наши враги. В их племенах новый вождь, Вольх говорит, что он крепок и очень воинствен.

– Какой Вольх? – Грач ничего не знал ни про Вольха, ни про далёких вождей.

– Не слышал? – Злат заулыбался. – А здесь захоlustье! О Вольхе Всеславном говорят и в Карачаре, и в Вадимле, и за Калиновым мостом. Он – герой! Вот, видишь? – Злат показал нашивку на рукаве в виде трёх стрел. – Это его знак. Печать его знамени. Он – наш вождь.

– Так кто же вы?

– Стрелки. Мы – защитники. Чистые люди, не нечисть. Пока вы тут спите, кому-то приходится вас защищать и проливать кровь.

– Зачем? – силился уяснить Грач сквозь шум в голове и звон в ушах.

– Так нечисть же! – хохотнув, выкрикнул Злат. – Скажешь, нечисть нас любит? Ну, после, всё после, – он потрепал Грача по плечу. – Мне пить охота.

Злат ещё пил и плясал. Кажется, он не пьянел. Хотя, может быть, Грачу это мерещилось. Грача давно клонило в сон, он прислонил к стене голову и понял, что уже спит.

Сон или явь? Чужие воспоминания? Кони всхрапывали, ржали и испускали пар. В то летнее утро, такое свежее и без росы, людей выгоняли из домов едва ли не коням под ноги. В деревеньке на восемь домов воины кружили на лошадях по дворам и колотили в ставни древками копий. Распахивались двери, селяне выскакивали спросонья всклокоченные, в исподнем, селянские жёнки – простоволосые. Пришельцы подталкивали их древками, а сами – в медных шлемах с шишаками, в бронях и с булавами у поясов. У сёдел прикручены огромные луки со стрелами.

– Ой, лишенько, люди!.. Язычник же...

Сам Язычник пришёл с молодцами на *полюдьё*. Селяне кричали и гомонили, пришельцы только бранились.

Язычник выехал вперёд, завертел головой, то ли выискивая кого-то, то ли разбираясь, что происходит. Лицо скрывалось под шлемом с нащёчниками и стрелкой-наносьем.

– Чьи холопы? – голос у Язычника сух и невыразителен. – Свенельда? Хельги?

– Вольные мы, вольные, – заахали жёнки, дрожа в одних рубашках от страха и утренней прохлады. – А приписана деревня к селу – к Леванидову Кресту на Чёрной Грязи...

– Вольные? – хмыкнул Язычник. – А милости мои позабыли?

Бранясь, налётчики оттеснили селян и заколотили в последнюю дверь.

– Не отворю-у-у! – завывали изнутри.

– Вытащите его, – сухо бросил Язычник.

– У-у-у! У-у-у! – тот, кто закрылся в доме, загоразивал изнутри окно лавкой или столешницей.

Загремело битое стекло, налётчики выбили окна. Изнутри завывали ещё страшнее. Поднажали плечами – дверной косяк затрещал и стал проламываться внутрь.

– Не зорите его, – взмолился какой-то дед. – Блажной он, не соображает. А я, я – староста тутошний.

– Ах, вот ты где. Нашёлся, – Язычник обернулся к нему. – Оставьте блажного! – крикнул своим. Те отступили. – Ну, как же теперь быть? – вопрошал Язычник. – Я вас берегу, от чужих защищаю... Ах вы, неблагодарные. Дед! Чем полюдьё платить будешь? Вот, говорят, что у тебя денег куры не клюют.

Старик оглянулся на деревеньку, вздохнул сокрушенно и закивал головой с готовностью:

– Правду, правду сказали. Ой, не клюют. Были бы денежки, курей бы ими кормили. А так не клюют, паскудные, хоть зарежься.

Язычник гоготнул, повеселев, молодчики тоже захохотали. Шутка удалась.

– Ой, дед, уморил. Ой, осмелели вы, – голос у Язычника подобрел, молодцы его поостыли.

Селяне переглядывались, не пронесло ли? И то сказать: что взять с деревеньки в восемь двориков стольким – аж сорока! – добрым воинам. Шерсти клоч да муки комок? Селянам полегчало. Вон, уже и солнышко поласковее светит, денёк, видать, знойкий будет.

В овражек, что за деревней, солнце не попадало. Внизу прятались ото всех всадники – пацаны, семнадцать человек. Зверёныш привёл их ночевать, селяне пустили ватажников на сеновалы. Но на заре их вожачок забеспокоился. Проснулся: чуткое ухо уловило то ли топот, то ли голоса – близкая река разносила шум. Он перебудил парней. По одному, стараясь не шуметь, они свели в овраг за деревню коней. Затаились.

– Кто они? – губами, а не голосом спрашивал Зверёныш. – Сколько? Если вооружены, то чем?

По одному выглядывали его ватажники. Что примечали, докладывали. Зверёныш и сам поднимался взглянуть на Язычника.

– Луки и стрелы, – соображал он. – Саадаки, тулицы, колчаны. У поясов булавы или палицы, – шептал Зверёныш. – Человек сорок, а у вожака серебряная стрела на шлеме. Удача, пацаны, удача! Так только Вольгу-лучника описывают.

Всадники поднялись из оврага. Подвое поехали к деревеньке.

– Ярец, Вольгу величать надо, – напоминал Зверёныш. – Всеславным величай его или Вещим – как язык повернётся.

Язычники люди и не встревожились, только оглянулись на пацанов, конных, почти безоружных – так, кистени, нагайки да пара сабелек. Один Язычник поднял голову:

– Эй, дед, это еще кто? – из-под шлема он разглядывал Зверёныша, а говорил по-прежнему со старостой. – Ну, что за гости у тебя?

– Ночевали тут, – смешался старик. – Проезжие они.

Зверёныш зыркнул в сторону, Ярец понял приказ и выехал вперед:

– Мир вам, почтенные! Честь и слава всеславному Вольге Вещему...

Зверёныш разглядывал Язычника: он крепко сложен, но роста, кажется, среднего, как все. Шлем и бармицы на плечах придавали ему показную мрачность. Впрочем, телесно он был силен: и грудь широка, и шея толста. С таким не борись!

– Вы чьи? – Язычник приподнял руки в перстатых рукавицах и снял шлем, обнажая голову.

Зверёнышу бросился в глаза землистый, почти серый цвет лица. Глаза светлые в голубизну, но почти белёдые, под неприветливыми бровями. Нос ровный, прямой, почти плоский, а усы – длинные, висят около рта, и борода редкая. Да ещё голова почти вся выбрита, только клочок волос на темени, и в левом ухе золотая серьга.

– Ну, так чьи? – повторил Язычник. – Ночевали, не побоялись. А коли бы в деревне нечисть жила? Они злы-ые теперь стали...

– Да какая нечисть. Здесь мельница на конной тяге, – сказал Зверёныш. – Да ещё – сеновалы. Не для людей же сено, а для коней. Кузницы своей нет – значит, есть, кому водить лошадей на перековку, кому холить и любить их. Кони не живут там, где нечисть.

– Ты знаешь лошадей? – не поверил Язычник. – Вы – издалека? Изгой? Вот – ты.

Он указал на Ярца. Ярец выпрямился как для доклада:

– Писарчуков сын, сам наукам не обучен, жить нечем.

– Чего ж так? – хмыкнул Язычник.

– Убили отца. На рати за Степью убили. Не успел выучить.

– У меня, – встрял другой, – отец торговал, да разорился, всем одолжал. А на рати брата убили.

– Мой дом сгорел, а отец – каторжник. Община меня не приняла, всем миром выселили.

– Всех, что ли, общины повыселяли, эй, соколы? – Язычник языком прищёлкнул, – А вы не из одного ли села, часом? Сказывайте, чем миру насолили! Вот ты, ответь, – он пальцем ткнул в Зверёныша.

Зверёныш не ответил. Крепче сжал губы. Потом разлепил их:

– Прими к твоим молодцам, Вольга-лучник. Хотя бы оружие за вами носить.

– А за мной будешь носить, изгой? Коня моего чистить?

Солнышко поднималось. От речки отражался свет, посветлели крыши домиков. Язычник с молодцами съезжал с деревеньки, не взяв ни ломаной полушки.

– Бедно живете, селяне! – крикнул, оглядываясь, Язычник, – пусто у вас и голодно. Взять нечего! Ждите через три дня подводу с прошлогодним зерном. То милость моя, не забывайте!

Селяне с облегчением что-то гомонили, простоволосые жёнки успели покрыться платками и долго махали в след. А про себя-то, наверное, бранились. А может, благодарили, кто их знает?

Язычником дружина была недовольна. Язычник был мрачен, усы и клочок волос на голове повисли, он хмурился. Молодцы кусали губы. Первым не выдержал один – с палицей и в стёганке вместо брони:

– Эх, надо было на Леванидов Крест идти!

– С него по весне брали, – в миг отозвался Язычник, вожак точно ждал такого упрёка. – Нельзя по два раза брать.

Язычнику не поверили, многие недовольно фыркнули. А вожак повернулся к Зверёнышу и сказал будто бы для него одного:

– Никогда не зори дотла тех, с кого кормишься. Дай им побогатеть для тебя.

– А у Свенельда даже отроки в серебре ходят! Мальчишки, вот вроде этих, – хмурый дружинник указал на Зверёныша и Путьшу. – А мы – что?

– Вот так дружинники и Старому Ингвару сказали, – протянул Язычник. Клок волос на его голове мерно покачивался.

– Ингвара Старого предали холопы, – не вытерпел Зверёныш. – Про это во всех корчмах на Черной Грязи повторяют.

Язычник коротко глянул на него и проговорил будто бы не для него, а для хмурого дружинника:

– Вот за второе-то полюдьё подряд данники Ингвара и убили, – Язычник пожевал усы. – Ты труп его покоцанный не видел? Я видел. Из его черепушки сделали чашку. Верней, горшок. Для надобностей.

Язычник теперь пристально изучал Зверёныша. Тот задрал подбородок, хотел по привычке оскалиться, но сдержался. Только руку на пояс положил – туда, где чужая сабля висит.

– Нет, Ингвара предали, – упрямо повторил он. – Людишки к Малу переметнулись. А вожак Мал был трус и подлец! Им Ингварова жена отомстила: Мала в землю зарыли, а людишек в домах пожгли.

Язычник покачал головой:

– Ингваровой ватагой теперь правит его баба, одна с малолетним дитём. Где ж ей выгода от мужниного разбоя? Сын в отца пойдёт, и с ним то же будет, вот попомни. Горшок из черепа!

Дружинники насуплено молчали. Умом соглашались с Язычником, но сердцем помышляли как Зверёныш.

– Нет, – отрезал Зверёныш.

– Нет? – удивился Язычник, с ним никто ещё не спорил. – Ну, пусть не горшок, пусть чашка для вина. Дырки от глаз стекляшками заткнут – и ладненько.

Зверёныш вспылит, не сдержавшись, обнажил-таки зубы. Разве что саблю не вынул – хватило ума.

– А ты – зло-ой... – примиряюще протянул Язычник. – Ой, зло-ой, прямо-таки зверёныш какой-то. Как кличут-то тебя?

Зверёныш довольно оскалится. Вывернул в ухмылке верхнюю губу, оголяя резцы и клыки. Кличку-то свою он Язычнику не называл. Впервые она ему искренне понравилась...

...Сон или явь? Всё тает в тумане, мутится, пропадает куда-то. Легкокрылые кони влекутся, как сны и помыслы, куда сами изволят, хоть и делают вид, что подвластны всаднику...

На утро после пирушки Грач поднялся с трудом. В глазах держался туман. Стрелки храпели и громко во сне вскрикивали: «Деревья, деревья гнутся!» Грач осторожно переступил через них, пробрался в сени. В сенях были сложены выюки. Грач поднял выпавшее на пол седло, подержал на уровне глаз. Таким изгибом луки славятся мастера Калинова Моста. Странно, что давно нет оттуда ни купцов, ни коробейников, весна же – торги уже начались.

Грач прошёл из сеней к Сиверко. Все кормушки были пусты, чужие кони дожевывали под ногами подстилки, а Сиверко удивлённо косил глазом.

– Что ж, Сиверко, такие дела, гостей надо было уважить.

Но насыпать в кормушки овёс Грач не стал – пусть о пришлых конях думают хозяева. Он вывел Сиверко во двор.

«Надо бы в Приречье съездить. С Бравлином потолковать. Жаль, не успел починить хотя бы пару чайников – теперь ехать с пустыми руками. Ладно, там заказывали уздечку, отдам свою, новую, для себя делал», – оседлав, он вывел Сиверко за забор, остановился.

Добеслав, прячась за пригорком, караулил. С просеки или с дороги его не видно, а сам он просматривает их на сотню шагов.

– Здорово, – от скуки сказал Добеслав.

– И так здоров, – Грач сел в седло, натянул повод. Сиверко быстрым шагом, а потом рысью поскакал вдоль леса.

Это самый короткий путь от Залесья к Приречью – по просеке, потом вдоль леса. А новость о возвращении Златовида могла разлететься по Плоскогорью и минуя хутор Грача. Ведь другая дорога шла вокруг чаши над истоками Пучай-реки.

Вот, показалось Приречье, чуть позже – забор кузнечного двора. Народу не было. Грач въехал в открытые ворота, соскочил с седла.

– Бравлин!

Из дверей кузницы показался Бравлин, помялся, и за кузнецом вышел на свет старший конюший Гоес, а с ним посадский староста Млад да ещё этот Ратко, старейшина и вояка. У Грача засосало под ложечкой.

– Эй, ты! – Гоес грубо окликнул. – Поди сюда, Грач! Поговорить надо.

Положение отлучённого от общины изгоя обязывало подчиняться. Грач, скрепя сердце, подошёл, держа в поводу Сиверко – конь придавал уверенности. Мельком он глянул на Бравлина.

– Ты мне не переглядывайся, в глаза смотри! – пресёк неповиновение Гоес. Из-под насупленных бровей и широченного лба он тускло уставился на Грача: – Этот твой дружок – что у тебя делает?

– Златовид? – он попытался ответить в тон, но голос подвёл. – Ночует...

– Имей у меня ввиду, – Гоес погрозил пальцем, – возьмётесь за старое – уже не со двора, а со свету сживу!

Грач закусил губу.

– Молодчики с ним – кто такие?

– Стрелки, – выдавил Грач. – Сходите и спросите.

– Подерзи, подерзи мне! – Гоеслав угрожающе поиграл бровями, отчего на лбу стала заметной какая-то вмятина. – Ну-ка, веди! Сам потолкую.

Снова подняться в седло Грач не посмел. Те трое расценят это как дерзость. Он повёл Сиверко. Гоеслав, быстро шагая, нагнал Грача и пошёл, искоса хмуро поглядывая. Староста Млад поплёлся позади, скрипя снегом и перебегая с шага на рысь. Взгляд старика Ратко жёг спину между лопаток. Про него говорили, что Ратко только строит из себя ратника, а на деле был опричником и в старые времена выселял из домов нечисть. Грач кожей почувствовал сейчас своё отличие, особенно чёрные, не как у людей, волосы...

Ещё подходя к хутору, Грач увидел, как шастнул в дом дозорный и как скоро, точно поджидая их, распахнулась дверь дома. Выскочил со двора Добес, пропустил вперёд Златовида с сопровождающими – Скуратом и Веригой. Златовид сверкал кирасой, налокотником и поножами, красовался в пурпурном плаще, небрежно накинутом на плечи. У конюшего Гоеслава вытянулось лицо. Слева у Златовида, под самой рукой, свисал от пояса до земли тяжёлый в дорогих ножнах меч – кажется, палаш работы дальних мастеров. Ратко, старый вояка, присвистнул от удивления.

– С утречком тебя, Цветик, – спокойненько кивнул Злат. Злат будто показывал, что Грач – под его опекой и покровительством.

Медленно, с сознанием собственной значимости Злат поклонился. Гоес толкнул старосту Млада локтем, все молчали. Златовид держал руку близ сердца и кончиками пальцев как будто указывал на нашивку со стрелой выше левого локтя.

– Почтенный Гоеслав, добрый наш Млад, заслуженный Ратко, принимаю за честь видеть вас снова, – Злат заговорил ласково, гостеприимно, но словно даря каждое слово. – Представлю вам моих ближних: славного Скурата, храброго Веригу и Добеслава.

Стрелки один за другим наклонили головы.

– Гм, – выговорил Гоес. – А говорили, мол, оборванцы...

– Люди-то говорят разное, – пожалел Златовид, – но на каждый роток найдётся платок, – он пообещал, перевирая пословицу. – Раз я вернулся в трудный для родины год, значит, я обязан помочь выросившей меня общине.

– Ах, даже вот так, – пробормотал Гоес. – А-а...

– В знак моего стремления заглядить былое, – перебил Злат, – позвольте поднести вам добытые почётным ратным трудом подарки.

Злат посторонился и кому-то сделал отмашку. Через двор пронесли подарки. От пестрящего атласа, переливчатого шелка и кашемировых тканей у коневодов захватило дух.

– Вот, если только, – разволновался староста Млад, – если в знак уважения к вам, – он принял подарки.

Коневодам ещё подарили конскую сбрую да полное облачение наездника, от соболей шапки до сапог с золочёными шпорами. Гоес не вытерпел и попробовал шпору на зуб.

– Отличившемуся в боях Ратко особый наш дар! – Злат поднёс старику саблю какой-то чужестранной работы с золотой рукоятью и в разукрашенных ножнах.

– Златушка, Златушка, – прослезился старик.

После все трое удалились, согнувшись под тяжестью подарков и осторожно ставя в снег ноги. Грачу стало стыдно – за них, за старого опричника, за себя, потому что боялся и недолюбливает их, таких до неприличия жалких.

Из дома выходили проспавшиеся стрелки. Злат ледяным взглядом встречал каждого, кто после вчерашнего цеплялся за косяк.

– Трезвитесь, парни, трезвитесь! Приказываю к полудню подготовить лошадей, вымыть, вычистить, ссадины смазать маслом. Вы поедете к коневодам, а у них глаз намётан. Чуть волосинка не так лежит – всё пропало. Цветушка, поруководи ими. Ты же поможешь нам?

– Я подумаю, – уклонился Грач. Пообещать подумать означает не пообещать ничего.

В полдень на дороге к Приречью Грач старался вести Сиверко в стороне, как бы отделяясь от всех. Едва показался посад, Златовид привстал над седлом, высматривая подворья, а после вывернул шею, оглядывая общинные конюшни.

На дальнем конце появилась крыша Посадского дома, за ним – широкий двор, целая площадь для собраний и праздников. Донесли скраденные расстоянием голоса. Староста Млад однообразно бубнил в воздух поверх людских голов:

– ...принять помощь и руку дружбы прибывших... оказывать содействие Златовиду сыну Кучки и тем, кто с ним... предоставив содержание за счёт посадской общины.

Гоеслав из-за плеча Млада посматривал на собравшихся и мерно кивал головой, а староста Млад через слово оглядывался то на него, то на старейшину Ратко.

– Как это? Как это? – заволновались в толпе. – Нам новая повинность, что ли?

– Ну, Гоеслав у нас теперь заместо боярина, – встрял некий шутник, – ему только дружины и не хватает.

Гоес погрозил широченной ладонью, выискивая в толпе балагура:

– А ты помолчи, помолчи, остроумник! – он в раздражении мотнул головой. – Всё бы горло драть, право слово, – тут он вдохнул воздух, поднял глаза на улицу у Посадского дома

и остановился. Народ заволновался, угадывая, что происходит. Увидели и с недоверием расступились.

Златовид въехал на площадь с полутора десятком всадников – все в доспехах и на войсковых караковых лошадях. Коневоды настороженно переглядывались: воинов в этих краях не видели лет десять. А эти – в шлемах, кольчугах да с луками и стрелами, у этих – лёгкие мечи и чёрные всадничьи плащи. К добру ли...

Златовид соскочил с седла и повалился народу в ноги:

– Дорогие мои! Каждого с детства помню. Сердце так и рвалось к вам. Уж не знаю, примите ли? Истосковался, измучился на чужбине. Вернулся я к вам, хорошие мои, вернулся, – Злат отвернулся, будто скрывал слезу. Народ выжидал, а одна тётка вдруг растрогалась:

– Ой, как похож, как похож-то... Мой молодым такой же был, когда на проклятую Рать собирался.

Коневоды поёживались, доверять пришлым бойцам не спешили. В посаде любое оружие сдали ещё лет десять тому назад по особому указу, когда закончилась Рать. А дружиннички будто невзначай поправляют мечи и луки.

Стрелки, будто ждали приказа. Соскочили с сёдел, торопясь, распутали выюки. Златовид выхватил первую охапку и нырнул в толпу. Он помнил всех по именам, ласково звал кого баба, кого дядя, кого дружище или старина. Человек пять или шесть стрелков помогли ему.

– Не держите обиды, забудем старое, – упрашивал Златовид. – Баба Морозиха, возьми. Дядя Стешко, это тебе. Виноват я за старое, ну так простите, вину-то заглажу.

Скурат совал коневодам шапки, меха и дорогую одежду. Верига одаривал девок бусами, лентами и серьгами. Третий стрелок откупорил бочонок с вином и наливал. К нему выстроилась вереница.

– Эх, да чего уж там, – бормотал дядя Стешко, – и воров-то прощают.

– Ой, совсем другой стал, – умилялась баба Морозиха, – Златовидушка.

– Вот так ладненько! Вот так по-нашему! – радовались посадские, мечей и луков со стрелами никто больше не замечал.

Златовид, обознавшись, налетел на Грача и чуть было не вручил ему подарок – сапоги с оторочкой, но признал его. На мгновение кротость в его глазах заволокла леденящим холодком, он сощурился, а через миг снова просиял благодушием.

– И тебе скоро будет, – пообещал тихонько. – И тебя не забуду.

Народ потихоньку расходился по околоткам и улицам. Остались одни девки, на время увлеченные красотой стрелковых доспехов. Злат на глазах сменил кротость на удаль. Подтянулся, распрямил спину и взлетел в седло, не касаясь поводьев. Сделал круг по площади, глядя соколом и блестя золотыми кудрями.

– Теперь в Залесье! – приказал Злат, стрелки вскачь понеслись за ним.

На краю посада он вскинул руку и без шутовства приказал идти шагом.

– Новость о нашей щедрости должна успеть раньше нас, – он усмехнулся.

Грач поравнялся с ним:

– Что – честно заглаживаешь грехи?

– Да брось, – Злат отмахнулся. – Убили мы, что ль, кого?

– Считаешь, что нет? – обронил Грач.

Злат сжал губы, стегнул коня по ушам плёткой и умчался вперёд. Грач только увидел, как он, по-военному сжимает коленями бока лошади и слегка привстаёт – так держатся в седле, когда скачут в бой. Лишь палаш в его ножнах чуть покачивался – левой рукой Злат беспрестанно давил на рукоять. Когда показалось Залесье, Злат придержал коня и подождал Грача.

– Сегодня, когда закончим дела, Цветик, – тяжеловаго заговорил Злат, – я тебе расскажу, где и как я научился убивать. Расскажу, как убивать, кого убивать и за что убивать. А пока

смотри на родное Залесье, смотри, как они – они, а не я! – будут просить у меня прощения, чтобы урвать хотя бы кусочек из моего добра.

На въезде в слободу их встретили коневоды – мужчины и женщины. У встречающих нашёлся круглый хлеб с горькой соли. Златовид даже не слез с коня. Коленями и шпорами он заставлял коня танцевать, а сам еле-еле сдерживал его поводом. Он нарочито свысока оглядывал залесцев, его стрелки медлили.

– Что, Златушка, здравствуй? – не выдержал кто-то из коневодов. – Милости просим?

Златовид странно улыбнулся одной половиной лица – как тогда, когда на Смородине встретил Грача.

– Конечечно. Здра-авствуйте, – согласился он. – Зажда-ались уже?

– Шесть лет, как-никак... куда, думаем... всё-таки...

– Так с возвращением меня! – крикнул Златовид, как будто это должно всех обрадовать.

Стрелки соскочили на землю, развернули выюки. Грач всматривался в залесцев, радостно хватавших подарки, и выискивал тех, кого знает. Власту и Руну не находил – кажется, их здесь не было. Разумно. Вон, вдали ото всех держится конновладелец Изяс, какой-то угрюмый. Вон – тоже вдали, Венциз, и тоже не берёт гостинцы. Это понятно, подарки берут незажиточные. Особенно старался один мужичонка-«захребетник», из тех, разорился и живёт в услужении:

– Вот ведь, щедрость так щедрость! Вот ведь, что значит друг, товарищ и брат! Чай не чужие – бери, дорогой, ничего не жалко. А ведь такие есть, ну, такие есть гады...

Этого мужичка в хозяйской заношенной телогрейке тут осенило. Мужичонка нахмурился, посоображал да и подскочил к самому Златовиду, к самому его стремени:

– Златушка, слышь? Ну-ка, рассуди. Ты, я вижу, человек умный, сама доброта! Беридавай подарки и ещё тебе дам, не жалко. А Изяслав – гад ещё тот, полушки, осьмушки за здорово живёшь не даст. По-людски это? Рассуди, а? Справедливо?

– Какой ещё Изяслав-то? – наклонился с седла Злат. – Ты что бормочешь?

– Ну наш, вот ведь, Изяслав-то. Толстопузый!

Кто-то в толпе услышал, что поминают Изяса:

– Да, Изяс, Изяслав! У посада луга прикупил, теперь на тебенёвку не пускает!

– Слободу долгами окрутил, жеребцов не даёт, за одну садку по золотнику берёт!

– Ах, Изяс! – припомнил Злат. – Постой-ка, – он на что-то решил. – А где Венциз? Эй, коневод Венциз! Скажи, сколько ты Изясу должен?

Венциз-конновладелец стоял от Изяса в десяти шагах. Их разделяло пустое пространство. Венциз поглядел Златовиду в глаза, что-то в этих глазах выискивая. Златовид выжидал и недобро шурился.

– Ну, так и с тебя, Венциз? – настаивал Злат. – Золотник за садку?

– С меня пять злотников, – Венциз продал Изяслава. – Соперника на рынке не хочет!

– А не тот ли это Изяс, у которого бабка – кикимора? – Златовид тронул повод, и конь медленно пошел в толпу.

– Тот, тот! – закричали.

– Берегиня, а не кикимора! – рявкнул баском Изяс, оказавшийся вдруг в одиночестве на краю площади.

– Я и говорю, – мерзко согласился Злат: – Нечисть водяная! – он вёл коня прямо на голос.

– Кикиморыш! – завопил давешний «захребетник», первым разгадав что к чему. – Ведьмёнок весь вылитый!

Площадь разноголосо волновалась. Златовид вздыбил жеребца, едва ли не пав его грудью на лицо Изяса. Тот не шелохнулся, только поморщился и отвёл голову.

– Повылезали из нор и щелей, – процедил Злат, заводя себя. – Сидела бы нечисть в болоте, так и жива была бы. Смердит от вас!

– Ты мою личность не трожь! – осадил Изяс. – Я тебя помню, когда ты сукам хвосты крутил. Табуну моему позавидовал?

– Полунечисть учить меня будет? – что-то блеснуло над головой Златовида. Он яростно выдохнул, вкладывая в удар всю силу плеча и кисти. Плоть хрустнула, рассечённый до паха Изяс обрушился наземь. Все охнули. С палаша в руке Златовида лилась кровь.

Златовид крутанул пляшущего и храпящего от крови жеребца. Толпа шарахнулась в стороны. Венциз, «захребетник», другие обвинители остолбенели.

– Вот и нет кровососа, – медленно, но как-то слишком легко выговорил Злат. – Эй! А сколько в слободе подворий? – он вдруг бодро выкрикнул в толпу.

– Триста двадцать... – кто-то еле слышно подсказал.

– А скакунов у Изяса?

– Двести восемьдесят, что ли...

– Вот и ладненько. Богатейшие сорок обойдутся, – решил Злат, укладывая палаш в ножны. – Остальные бери себе по лошади.

Кто-то – может, тот самый мужичонка, может, другой – Грач не был уверен – первым выругался матом и побежал на двор Изяса. Остальные по одному потянулись, потом побежали, после, подбадривая друг друга, закричали, хватая с земли камни и палки. Вокруг опустело. Остался грязный истоптанный снег и изуродованное, дымящееся паром тело Изяса.

– Вот мы какие, оказывается, – Злат не спеша пригладил жёлтые волосы, бережно натянул на них кольчужный капюшон, надел шлем со стальным наносьем. – Такие мы, – повторил он, кажется, наслаждаясь. – Скурат! – вдруг закричал. – Пошли людей проследить, чтобы дом Изяса не разнесли! Я там жить буду.

Четверо стрелков подстегнули коней и понеслись вперёд на шум. На Изясовом дворе истошно заголосила баба.

Глава III

В тот день Грач попросту сбежал из Залесья. Три дня и три ночи он носа не высовывал с хутора и в одиночестве с остервенением крутил гончарный круг. Горшки получались уродливые, кривобокие, он с досадой кидался ими в стену или же мял их кулаками, разбрызгивая грязь по мастерской. На третьи сутки Грачу стало тошно. Он поплёлся к сваленной в углу утвари, ожидавшей починки, поворошил её ногой. Худые котелки громыхнули.

«Бедные, – пожалел он, – такие же дырявые, как и я», – на сердце было тоскливо, захотелось бежать из дома, где не с кем поговорить, кроме как с лошадыю.

Третьего дня его не ужаснули ни кровь на палаше – для коневода кровь это заурядная часть жизни, ни труп на слободской площади, ни Златовидова ухмылка. Но потрясло, что никто, совсем никто не шарахнулся прочь, не отшатнулся. Пускай человеческая кровь для коневода не отличается от крови животного, пускай выжеребка, заклание, свежевание – привычное дело, но Грач копался в себе и понимал, что смерть и расправа не тронули даже его. Что требовать с других?

В детстве он наслушался рассказов бойцов, что вернулись из-за Степи с далёкой Рати. Совсем седые в свои двадцать пять лет, ратники, затуманив мозги вином, развязывали языки. Рассказы их стоили ему бессонных ночей с вытаращенными от ужаса глазами. Вот, не от того ли взбесились шесть лет назад Грач, Златовид и другие?

Грач опрокинул верстак, пнул гончарный круг. Сердце сладко зануло. Сердце рвалось прочь из дома, к свободе. Тянуло к Залесью, к третьему от лесной околицы дому, к Руне.

«Да как же я с пустыми руками пойду? Цветов – и тех нет. А в садах уже цветут яблони. Да, яблони, – Грач, кажется, придумал. – В лесу есть одна дикая яблоня».

Грач засобирился. К той яблоне придётся сделать крюк, а потому лучше оседлать Сиверко. Жеребчик застоялся, ему надо размяться.

В лесу бежала неплохая тропка. На ней Грач разогнался, сшиб рукой листву, бросил её коню под ноги, в хрустящий снег. Спешился у самой яблони, срезал три цветущие ветки. Гуляя, повёл Сиверко за собой, позволяя тому покусывать на деревьях зелёные листья.

Среди деревьев мелькнул шалаш. Послышалось собачье, как показалось Грачу, ворчание. Он свистнул, подзывая собаку, и тут же увидел человека, стрелка, который с трудом сдерживал за ошейник здорового кобеля бурой масти. Стрелок был в дорожной одежде, держал за спиной лук со стрелами, на рукаве у него была всё та же нашивка со стрелами.

– Чернявый! Куда ветки тащишь? – стрелок еле умирал рвущегося пса.

– Это не ветки, а цветы. Тебе-то какое дело?

– Ты это... леший, что ли?

– А ты? Кого в лесу ждёшь? – Грач перенял стрелковскую манеру допрашивать.

– А вот пса выгуливаю... – стрелок потянул оскаленного кобеля за ошейник.

Одного взгляда на пса, на жёсткую шерсть на его морде, на торчащие уши, на жёлтые, близко посаженные глаза хватило бы, чтобы понять – не пёс это, а волк.

– Почему окрас бурый? Серый же должен быть...

Стрелок пожал плечами. А волк зарычал, обнажая клыки, и взъерошил шерсть на загривке. Сиверко шарахнулся в сторону, Грач еле удержал его, а конь упёрся копытами в землю и захрапел. Грач слегка подтолкнул его в холку, пошли отсюда, нечего тут стоять.

«Ну, и пусть себе выгуливает, – приговаривал Грач. – Мы – коневоды. Мы волков в жизни не разводили!»

Он зашагал по лесу, который знал вдоль и поперёк, шагал напрямик к Залесью, шурился на солнце. Вдыхал обеими ноздрями яблоневый цвет. Еще светлее стало на душе, когда он

увидал Руну – издали такую маленькую, будто игрушечную, рядом с деревьями её сада. Он помахал рукой. Она заметила, подбежала к калитке, открыла.

– Руна! Привет, я так рад тебя видеть!

– Привет! – глаза её так и засияли на солнышке. – Ой, как давно тебя не было, я соскучилась.

– В самом деле? Ох, даже приятно стало! Это вот тебе за такие слова, – он протянул цветы.

– Спасибо, – играя в изящество, взяла Руна. – Я весьма люблю яблоню, – засмеялась.

– А мне в такой солнечный денёк захотелось увидеть тебя, чтобы день стал удачным, – ручьём полились слова. – Ты всегда мне приносишь удачу, я давно заметил. От тебя, наверное, исходит волшебное сияние. Вот я и прихожу вдохнуть его и поделиться тем, что есть у меня.

– То-то я смотрю, – Руна засмеялась, – Сиверко тоже за счастьем пришёл?

– Куда же без него? – Грач погладил ему гриву.

Польщенный вниманием Сиверко цапнул с дерева усыпанную цветами веточку вишни.

– Не смей, – испугался Грач. Сиверко воровато покосил глазом, а Руна прыснула со смеху.

Тогда жеребчик потянул губы к её цветам.

– А-ах! Пошел прочь, нахал! – Руна стала отмахиваться.

– Не обижай Сиверко! – Грач шутливо возмущился. – Он поцеловаться с тобой хотел.

– Пускай с моей Мальвой целуется! Хорошая же кобылка, трёхлеточка.

– Ну, Мальва это само собой разумеется!

– Ах, какой ужас! И ты такой же?

– Я? Не, я хороший.

Разговор вылился в брызги веселья и ничего не значащих слов. Было радостно смотреть на Руну, на улыбку чуть полных губ, на дрожащую от смеха каштановую прядку. В Руне было что-то от ребёнка и от взрослой девушки. Этот пушок на щеке, эти залитые смехом и солнцем глаза, они закружили Грачу голову: – «Наклониться бы и поцеловать её», – подумал он, но не решился.

– Можешь не верить, – голос Руны подрагивал от смеха, – но у моей вишни только нижние веточки замёрзли, а наверху в цветках уже ягодки – вот такие, с семечко.

– Неужели? – Грач улыбался. – А землянику под снегом не искала?

– Знаешь, не догадалась, – подхватила Руна. – Вот пойду в лес, возьму вареники и поищу.

– Угостишь потом? – Грач подобрал горсть снега, слепил снежок и запустил в дверь дома. «Тумб!» – глухо стукнуло.

– Кто там? – донёсся голос Власты.

– О, кажется, твою матушку разбудил, – наозорничав, оглянулся Грач.

– Да она не спит.

Власта, кутаясь в шаль, вышла из дома и подошла.

– А, здравствуй, это Цветослав, оказывается! О чём смеетесь?

– Землянику под снегом ищем, – вежливо пошутил Грач.

– А что, поспела уже?

Власту никогда нельзя смешить в начале разговора. Бывает, что шутки не доходят. Теряются. Сперва её надо подготовить, мол, сейчас будет смешно.

– Да нет же, тётя Власта. Мы только на словах. Холодно в снегу рыться.

– Что за лето? – пожаловалась Власта. – Вверху жара, внизу стужа. Выйти бы всем да сгрести его куда-нибудь хотя бы с выгонов?

– Он за ночь вырастает, – остановила Руна. – Табунщики говорят: там, где кони разгребут днём, там ночью он снова ложится. Как роса – вместо неё появляется.

– Ну, не знаю, – нахмурилась Власта. – Может, хоть теперь порядок наведут.

– Да кто! – Руна фыркнула. – Златик, что ли, наведёт? Такое порой сморозишь!... – она отвернулась.

Власта взглянула на Грача за поддержкой. Не вмешиваясь, он пожал плечами: это у них продолжение начатого без него спора.

– Что? Вам Златовид нравится? – спросил Грач, и какой-то холодный червячок заворoshiлся в сердце.

– Ну, – Власта явно осторожничала, – Злат необычный. Он умеет располагать к себе. Нам таких не хватает. А что ты удивляешься? – она пошла в наступление: – Теперь все за него! Захочешь хорошо жить, придётся дружить с ним, и здороваться, и поддерживать знакомство.

Руна опять фыркнула.

– Да, да, да! – обернулась к ней Власта и погрозила пальцем.

Грач встревожено обернулся к Руне:

– И где сегодня этот ваш знакомый?

– В Приречье, – сообщила Власта. – Он смотрит, как живут люди и как налажено хозяйство.

– Скорые суды? – вылетело у Грача.

Руна тут же отошла в сторону. Власта неуютно замылась, а Грач только бессильно проводил Руно взглядом.

– Меня там не было, – напомнила Власта. – И к слову сказать, этот Изяс был знатный подлец. Ты сам его не любил.

– При чем тут это! – перебил Грач.

– Ведь это он предложил объявить тебя изгоем за то, что ты украл его жеребца.

Вот этого говорить не стоило. Грач облился холодным потом и молча выслушал. До сих пор для Власты и Руны он не был изгоем, а был другом. Это негласное правило их общения.

– Мам, ты совсем уже! – Руна охнула, ушла в дом и хлопнула дверью.

– Вот, ты посмотри на неё, – подосадовала Власта. – Второй день так со мной! А потом будет ластиться и лизаться: «Мамочка, ты меня любишь?»

Грач немедленно из упрямства встал на сторону Руны. Чем бы ему подколоть Власту?

– Кобылку у Изяса себе подобрали?

– Нет, – глядя в глаза, ответила Власта так, что Грачу стало стыдно. – Нет. Соседи решили оставить свою долю его семье. И я с ними.

«И тут как все, – подумал Грач.

– Бабка-то у него вправду была берегиня, – вырвалось у Власты.

Грач резко дёрнул за повод Сиверко. Вскочил в седло, бросил сверху, не глядя:

– Если кто забыл, то моя мать – лесная вила.

– Ой, конечно же вила! – опомнилась Власта. – Цветик, да ты что? Твоя мама мне дороже всех, Цветик! – окликнула она его, отъезжающего.

Тот полуоглянулся, махнул рукой, ладно, мол, остыну, прощу, и пустил Сиверко вскачь вокруг леса, к Приречью.

Глотая досаду и непонятную обиду, он миновал Велесов луг с перелесками и въехал в Приречье. Ржание коней и брань Златовида он услышал прежде, чем расступилась акация, высаженные вдоль края посада.

– Живей, семя кикиморы! – Златовид злился. – Раздели их, чтобы я посмотрел. Маститых ко мне, остальных – прочь. Чалых, соловых, пегих – этих прочь!

Открылся длинный конюшенный двор. Лошади носились туда и сюда, общинные конюхи били о землю кнутами, а стрелки ловили коней под уздцы. Возбуждение коней передалось Сиверко, и Грач резко натянул повод, осаживая его.

– Мироша! – скрывая ярость, позвал Злат ледяным голосом.

– Я, Златушка, – сутулясь, подбежал старый конюх.

Как коневод, Грач видел, что у половины двух- и трёхлеток были пороки неверного бега – «бочение», «шатание», «неправый шаг». Всё это легко устранимо у молодняка, но для этих коней пагубно, если выездку не начать этим летом. Иначе товарными скакунами трёхлеткам не стать.

– А скажи-ка мне, Мироша, почему у тебя ценная масть вперемешку с неценной содержится? Может, это не конюшня, а вольный табун в степи или тырло полевое?

– Златовидушка, – мялся старый Мироша, – у нас не по окрасам стояли, а по родословным, по поколениям...

Златовид злорадствовал. Он сам словил под уздцы буланую кобылку. Та затрепыхалась, забила оземь ногами, но Злат смирил её, притянув к земле голову. Он ловко управился с лошадью, а золотые его волосы развилась на ветру. Даже высекая искры от ярости, он успевал красоваться. Злат был в кафтане, в верховых сапогах с маленькими шпорами.

А дорогую перевязь с тем самым палахом держал, скучая и стоя в стороне, Верига.

– А какой же родословной эта трёхлеточка, Мироша? – Златовид издевался.

– Я же говорил вам, Златовид Кучкович, – посмурел Мироша. – У нас, как положено, вёлся учёт, и всё писали в книгу. Да был пожар, и всё погорело.

Конюх Мироша в былые годы лупил пацана Златика почём зря, чтобы жеребят не распушивал. А то их, издёрганых, кобыла к вымени не подпускала. Теперь, вот, поди же, сам перед ним и оправдывается.

– Это что? Я у тебя спрашиваю, – Златовид, не брезгуя, раздвинул пальцами кобыльи губы. Он крепко держал лошадь за нижнюю челюсть. Кобылка, приоткрыв рот, выпростала язык поверх удила, точно хотела вытолкнуть их изо рта.

– Молодая же, – растерялся конюх, – глупая.

Глупая, но за эти глупости – спрос с конюхов. Удила и всё оголовье мешались трёхлетке, а значит она до сих пор к ним не приучена.

– Кто тут молодняк обтягивает? – дознавался Злат. – Покажи мне того гада, кто её оповаживал. Или что – он близко не подходил?

Злат бросил буланую, та замотала головой, ускакала к своим. Злат высочил на середину двора, коням под копыта и удержал яркую рыжегнедую с чёрной гривой кобылу. Та заиграла, но Злат остудил, огладил её, недобро щурясь. Потом стеганул кнутом по задним ногам. Кобылка заржала и взвилась свечой.

– На ноги у неё смотри! – закричал Злат. Испуганная кобылка, широко ставя задние ноги, унеслась в дальний конец двора и смешалась с немаститыми пегими и чальми. – Это боевая лошадь? Это скаковая? Она в бою со скака собьётся, у неё задние ноги бегут шире родной задницы!

– Ну, Златовидушка Кучкович, миленький! – уговаривал Мироша. – Некому молодью заниматься. Говорю же, беда за бедой! Пожар в посаде, малый приплод, купцы из Калинова Моста так и не пожаловали, не дождались...

Мироша загибал пальцы, а Златовид выбросил кнут и перчатки коням под ноги да отошёл прочь со двора к Вериге и Скурату.

Грач издали присматривался: Злат был подавлен, плоскогорские кони нужны ему до удавки. Скурат и Верига в полголоса переговаривались, Верига, кажется, злорадствовал. Злат, должно быть, поклялся про себя припомнить ему это.

– Уберите коней. С глаз долой, – бросил Злат за спину. Конюхи не сразу, но управились, свели лошадей со двора, развели по стойлам, заперли.

Грач присвистнул, привлекая внимание. Злат мрачно посмотрел, потом приветливо кивнул – сейчас подойду, мол. Подходил он нарочно медленно, изображая усталость. Верига со Златовым палахом разглядывал Грача.

– Здорово.

– Хозяйство налаживаешь?

– Плюнул бы на всё, Цвет. Запустили табуны, запаскудили. ... Сам-то куда пропал?

– На хуторе был.

– Возьмёшься за жеребят? – Златовид взглянул исподлобья. – Приплод этого года – отъёмыши, неуки. Нам вот такие кони нужны, – Злат с завистью кивнул на Сиверко. – А станут конюхи коситься – наплюй. Это же я тебя приглашаю.

– Подумаю, – снова, как тогда, сказал Грач.

– Ты уже о многом думаешь! – припомнил Злат. – Думай быстрее. А то...

Сзади подошёл Скурат, подвёл статную, благородно-серую кобылу с лёгкой волной рыжеватого волоса:

– Гляди, Златовид!

Злат присвистнул от удовольствия. Нахмурился, ожидая подвоха, стал всматриваться, ища малейший изъян. Не нашел. Даже заволновался.

– Окрас-то, окрас-то какой редкий. Грач, это розовым зовут или изабелловым?

– Розовым, – протянул Грач. Масть и вправду редкая.

– Верига, снаряди её быстро! – приказал Злат, волнуясь и не сводя глаз с розовой кобылицы.

Верига отложил палаш и оседлал лошадь. Злат, не касаясь стремян, взмыл в седло, лошадь задрала голову, но не стронулась с места. Легонько он ткнул её бока репейками шпор. Кобыла заржала и что есть силы лягнула воздух, рванув всем мощным крупом. Злат едва не вылетел из седла. Ругаясь, он еле смирил лошадь, соскочил на землю.

– Отбойная! – кричал он. – Отбойная кобыла-то, шпор не знает! Купцов ждёте? А всё! Из Калинова Моста больше купцы не придут, не ждите. Из Карачара по осени будут, да! Но ваших не возьмут. Вам же не купец нужен! Вам нужен такой, кто в этом году любую у вас возьмёт – и пегую, и кривоногую, лишь бы была обучена.

Грач краем глаза замечал лысоватого человечка, что прятался за углом конюшни. Он узнал его. За стрелками подсматривал посадский конюший Гоес. Златовид ухмыльнулся и сказал своим:

– Вот и всё, парни. Мы можем идти.

Верига протянул ему перевязь с палашом. Златовид препоясался, приятельски кивнул Грачу:

– Пройдемся? – пригласил на разговор.

Они пошли вдоль посада к просеке. Грач косо поглядывал на Злата, покачивающего рукоять палаша.

– Подумай, Цвет, посоображай. Конюх ты ладный, – начал Злат. – Через годик, через другой надо нам вырастить из молодняка скакунов. Знатных, боевых, таких, чтобы под седлом – в огонь и в воду! Займись же этим. Тебе никто и слова поперёк не скажет.

Злат советовал верное. Согласись теперь Грач, глядишь, всё и пошло бы в его жизни иначе. Но Грач помалкивал. Он разглядывал рукоять того самого палаша – посеребренную, почерневшую от пота. Её точно обвивала змея с раздвоенным жалом, а долгий и узкий клинок скрывался в ножнах из плотной кожи. Узнать бы, кровь с клинка вытирают или её впитывают ножны?...

Злат не дал ему додумать:

– Здесь мало таких как ты. Посмотри, вот был Изяс – великий коневод, у него и впрямь были дивные табуны. А больше никого. Есть Бравлин – отличный кузнец, да мелко дело поставлено. Взял бы учеников, расширил бы кузницу... Собоображаешь, к чему говорю?

Злат хотел как прежде ударить Грача по плечу, но тот шагнул в сторону. Злат промахнулся и, пряча досаду, размял в воздухе руки.

– Послушай, – Грач тяжело выдохнул. – Ты же ведь вор, Златик? Правда?

– Я? Нет, – Злат легко рассмеялся. – Хотя в определённом смысле... Ну, что по-твоему воры – конокрады и взломщики? – он ухмыльнулся.

– А ты удалец с большой дороги? – вырвалось у Грача. – Берёшь у богатых и раздаёшь бедным?

Златовид дёрнул головой.

– Дело не в этом. Есть люди – много людей! – кто борется за честь быть рядом – всего лишь рядом! – с теми, кто не щадит своей жизни, кто верен своим, верен делу. И верен оружию.

Они шли вдоль леса. Сиверко мешкал и задерживал их, срывая с ветвей листья. Златовы сапоги со шпорами не спеша давили снег, ставя чёткие, как отлитые из свинца, отпечатки.

– Я знался с ворами, Цветослав. Не всякий вор – преступник. Если кто-то крадёт, чтобы зарыть похищенное в землю, то такой и изменит, и предаст. А посмотри на меня. Разве я что-то оставил себе? Я всё роздал: и меха, и шелка, и даже коней Изяса. Ты видел, как их хватали, Цветик? Ты видел людей? Что им донос, что им смерть – не остановить! Так кто после этого вор, Цветик? Я – воин, я – аскет, мне много не надо. Эх, Цветик! – он всё же хлопнул его по плечу. – Ты ещё смеешь держать меня за злодея? – он засмеялся.

Ему было легко, весело. Гуляя, Златовид молодецки играл плечами и встряхивал золотистыми волосами, ветер шевелил ему волосы.

Ветер шевелил ему желтоватые волосы, а он подумал: «Легкокрылые кони – это надо же сказать такую глупость!»

– Вообще-то, – сказал Зверёныш шёпотом, чтобы звук не разбежался по реке, – крылатый конь – это редкая масть. Благородная. Крылатый это когда у каурого или саврасого чёрные «крылья» – оплечья по шерсти.

– Как у того? – спросил Язычник, показывая вдаль.

Смородина в нижнем своём течении тиха и нетороплива. Казалось, воды её – туги и упруги. Осенний холод бежал по воде и ветром шелестел по камышам в прибрежной заводи. В камышах, как охотники, в лёгких лодочках таились молодцы Язычника – по четверо-пятеро в каждой из дюжины лодок. Вверх по реке медленно плыли от Калинова Моста три струга под свёрнутыми расписными парусами.

– Как тот? – повторил Язычник. – Тот крайний – это крылатый?

Зверёныш вытянул шею, взгляделся предельно острым своим зрением и мотнул головой:

– Не-е. Но тоже ценится, барышники таких любят. Это – саврасый в масле.

Язычник повернулся, качнув лодку, и недовольно зыркнул.

– Ну, в масле – это так говорится, – протянул Зверёныш. – Грива и хвост у него черны как уголь, а сам аж лоснится... как мокрый песок.

Струги шли без ветрил – ветер для парусов слабый. На рядах скамей сгибались и разгибались гребцы с длинными, скрипучими в уключинах, вёслами. Уже послышался плеск вёсел о воду, заунывные припевки гребцов, фыркание коней в стойлах. Купцы-лошадники возвращались из Калинова Моста на Буян-остров. Зверёныш различал лица приказных, торчавших на кичках – площадках на корабельных носах, сразу за резной длинношеей лебедью.

– Прилично купцы затоварились, а, Зверёныш? – оценил Язычник. – Как тебе бурые?

– Это – караковые. Бурые – это карие в краснину, а караковые – в черноту. К тому ж с подпалинами, ну, с прожелтью на мордах. Почти что мухортые. Масть – так себе, но стати – правильные, ценные.

– Вот так – да? – не ожидал Язычник и опять сверху до низу оглядел Зверёныша. – А тех на втором струге как назовёшь? Светлых, белёсых до желтизны.

– С бледной серотой и темной гривой – половосерые, – прищурился Зверёныш. – А белёсогривые, желтоватые – то соловые. А вон та – изабелловая, – он оживился, – буланая в крас-

нину. Она как соловая, только гуще, и грива чёрная. Такие богачам нравятся, они их дочкам своим берут!

– Откуда ты взялся, Зверёныш? – Язычник усмехнулся. – Ты из Степи? Лицом, вроде, не похож. Откуда родом?

Зверёныш отвернулся. Отвечать не хотел.

– Где я рос, кобылье молоко с материнским мешают. А лошадей крепче людей берегут. Коневод я.

– Коневод-од, – протянул Язычник и языком прищёлкнул.

Струги с лошадьми подошли близко. Как раз – на челнах им путь пересечь. Язычниковы молодцы завозились. Тихо, стараясь не плеснуть, приготовили вёсла. Извлекли мечи, подняли луки.

– Ладненько, – оценил кто-то из старых Язычниковых работничков. – Бойцов у них мало, из людей так себе – сарынь одна.

– Сарынь? – бросил Зверёныш, глядя только вперёд, на корабли.

– Гольтыба, сволочь разная, – одними губами пояснил Язычник. – Сарынь – по-здешнему.

Гребцы на кораблях тужились, гребли с оттягом, не торопясь. Язычниковы молодцы изготовились, напряжение возросло.

– Пора!

Кто-то засвистел лихо и по-разбойничьи. Лодки вырвались из камышей, заскользили ровненько наперерез стругам. Вода заплескалась. «Раз-раз!» – заработали вёслами дружиннички. Зверёныш зачарованно не сводил глаз с пёстрога свёртка паруса на мачте и тискал потную рукоять сабли.

– Вёслы! Вёслы суши! – горлышком сложив ладони, прокричал Язычник.

Приказный на первой кичке забегал, размахивая руками, что-то закричал. На кораблях переполошились. Расстояние таяло. Взмахи гребцов спутались, ритм потерялся. На первом струге подняли вёсла, но вода несла струг вперёд, к разбойничьим лодкам. На втором сильнее загребли по левому борту, норовя уйти вверх по реке, но не развернулись, одумались, взялись грести скорее, да время уже пропало. Лодки Язычника их окружили.

– Ушкуйники! Ушкуйники! – бестолково кричали на стругах. Над бортами мелькали лица, нёсся храп испуганных коней.

– Вёсла прочь, вёсла! – ругались налётчики. Торчащие вёсла мешали лодкам пристроиться к борту.

– Прочь от вёсел, сарынь! – закричал тот старый работничек. – С дороги, все на кичку! – рукой он даже показывал гольтыбе, куда им убираться. – На кичку, сарынь! Сарынь, на кичку!

Гребцы, кто ещё сидел, повскакали с лавок. Вёсла либо попадали в воду, либо прижались к борту. На втором струге замешкались. Кто-то в доспехах побогаче грозил Язычнику саблей.

– Давай, – приказал Язычник. Лучники с лодок выстрелили раз и другой. На корабле закричали. Два тела, кувыркаясь, упали в воду. Зверёныш оскалился, видя торчащие из спин дrevки.

Сарынь загомонила, кинулась гурьбой на кичку. Лодки пристали, воины заскакивали снизу на борт, бранясь, рубили тех, кто замешкался. Зверёныш соскочил с борта на лавку, любопытства ради ткнул саблей скорчившегося под лавкой гребца. Тот жалобно закричал, задёргался. Стало противно. С борта спрыгнул Путьша и добил его, дурно хохотнув. Переглянулся со Зверёнышем, и тот оскалился – в бою надо быть злее, чтобы тебя за жоака считали.

Налётчики дрались на корме у конских стойл. Купцы и приказные в кафтанах да с лёгкими сабельками пытались сопротивляться. Вольга-лучник тяжеленным мечом сам срубил двоим головы. Куда лёгким саблям до меча! Зверёныш и не заметил, как бой окончился, купцы сдались. Вокруг кричали, гремело железо, выли раненные. Победители волокли купцов по полу, мешали живых с мёртвыми.

Кто-то завопил: «Не губи!», кого-то с бранью потащили из трюма. Защищая, верный холоп кинулся на Ярца. Тот оторопел, заслонился, а после выставил меч и ткнул неуёмного холопа в живот. Тот повалился на бок, и прятавшихся в трюме женщин вытащили. Купцову семью, что ли?

В стойлах на корме ржали и бились лошади.

Тяжёлым шагом Язычник пересёк палубу. Шлем с нашёчниками и наносьем прятал его лицо. Перед ним валялся скрученный руками за спину купецкий староста, его буянская тога перемазана чёрно-красным. Поморщившись, Язычник снял шлем.

– Узнал меня?

Староста поднял голову.

– Хе-е, – протянул, скривившись, и сплюнул кровью в сторону.

– А я-то как услышал, что Салтанка под осень купцов пошлёт лошадьми затовариваться... – Вольга-лучник не договорил, замолчал хмуро. – Расплатимся? Кто там у тебя, показывай.

В трюме пряталась девчонка лет двенадцати с золотыми серьгами и, видимо, её нянька, молодка с пухлой грудью. Молодка-то была из местных, говорила понятно, а девчонка что-то лопотала по-своему, наверное, по-буянски. Староста захрипел, кашлянул и вдруг выпалил:

– Пусти её! Вольга, слышишь? Это же дочка Салтанова. Я ей и за няньку, и за дядьку, я ей как родной.

Язычник мотнул чубом, потёр горло – бычьей шеею намяла горловина кольчуги:

– А давешним годом моих молодцов Салтанка отпустил ли? Выкуп за них принимал ли? Живы они иль померли на плахе-то! – Язычник, опираясь на меч, вогнал его в палубу. Аж доска треснула.

Девчонка что-то забормотала. Зверёныш вслушался, но ни слова не понял: кар-кар да гыр-гыр и всё. Кормилица только глаза переводила с неё на Язычника.

– Вольга, – пленный староста пытался привстать. – Знаешь, за что тебя «язычником» кличут? Чужой ты здесь. И языком чужой, и повадками чужой, и веришь во что честным людям не полагается...

– Врешь, сука, – Вольга был страшно спокоен. – Я тем, кто слово не держит, языки из пасти рву.

Пленный сглотнул и привстал-таки, распрямив спину. Лицом побелел – это Зверёныш заметил. Он, кажется, уже ко всему приготовился.

– Этих, – показал Язычник на девчонку с кормилицей, – за борт. В воду.

– Пусти-и!!! – взвился пленный, но ему заломили руки, опрокинули на доски. Девчонка закричала по-тарабарски. Воины схватили её и няньку, та закричала надсадным визгом:

– Не её! Меня, меня губите!

Обеих скрутили веревками, плюясь и бранясь на себя от досады, выкинули в воду. Река гулко плеснула, поглотила их. Только сарафан пузырьком поднялся и тоже потонул.

– А ты, холоп, – Язычник нагнулся к старосте, – с сарынью на берег плыви и не смей потонуть. Салтанке всё, как было, расскажешь. Запомнил ли?

Сладка мест Язычника. Ох, и сладка! С чем бы её сравнить-то? Только сама обида, лелеемая в сердце, бывает столь сладкой. Нет, не легкокрылый полёт на конях, не сны и мечты юности – только обида и месть так сладки.

Грач целыми днями сидел и вырезал Руне подарок. Звенья браслетки выходили одно к одному – ровными, гладкими. А на душе точно кошки скребли. От последнего разговора со Златом осталось чувство – вроде мутного осадка в бутылки с прогорклым маслом. Злат не просил, нет – Злат велел ему заняться молодняком.

Грач принялся просто так, играя, резать ножом кусок липы. Получалась игрушка – всадник, укрощающий вздыбившуюся лошадь. Не сразу понял Грач, что всадник похож на Златовида верхом на отбойной розовой кобылице. А когда понял, то резанул ножом по лицу всадника, изуродовал его и бросил в печь.

Он взялся разгрести на дворе снег, но только испортил, погнул о мёрзлый сугроб лопату. Бросил работу, стал слоняться по хутору. «Ведь Изяса, – думалось ему, – позволили растерзать за одну лишь бабку-берегиню». Чего ждать ему, вилину сыну? Вечером в дверь постучали.

Кто-то прошёл, перелез через закрученную на ночь калитку. Грач отворил дверь. В дом, неловко оглядываясь и зачем-то поправляя руками шапку, протопал посадский конюший Гоеслав.

– Апустишь ли гостя, хозяин? – Гоеслав пытался изобразить улыбку, но не столько поджатыми губами, сколько дряблыми, повисшими щеками. За шесть лет Гоес и близко не подходил к изгойскому хутору.

– А здарсьте, – пробормотал Грач.

– Ладный ты дом выстроил, – пытался вести разговор Гоес. – Э-э... Сам всё справил?

«Община помогала!» – хотел огрызнуться Грач, но сдержался. Гоеслав и так это понял по его виду.

– Ты это... – конюший понимал, что сказал глупость, но не знал, как исправить дело. – Сесть можно?

– Садитесь, – Грач обронил равнодушно. А Гоеслав остался стоять.

– Ты это, Цветослав! – начал, наконец, Гоес. – Уполномочен тебе сказать, что истекшие шесть лет ты вёл себя примерно, не вызывая нареканий, – Гоеслав замолчал, припоминая приличествующие случаю выражения. – Не взирая на тяжкие условия, ты показал себя старательным кустарём... – он умолк, подбирая слова.

«Прощают, – Грач заложил руки за спину. – Златовид был прав».

– Хоть я тебя тогда... Ты это... А Златовид, гм, Кучкович с тобою дружен! Он говорил, что помочь, мол, обещал бы... Ты передай. Согласны мы. Обсудить и... всесторонне взвесив, принять общим решением.

Конюший вытер пот с лица и засобирился. Он всё сказал. Остаться здесь больше не зачем.

– Так ты давай... Работай, трудись, – добавил, стоя уже на пороге.

«Вот прямо сейчас, на ночь глядя, и побегу к Златовиду», – подумал Грач вслед Гоеславу. Но все те слова, такие вымученные и выдвленные через силу, были столь нелепы и нехарактерны для конюшего, что Грачу томительно оказалось ждать до рассвета.

Он не выдержал. Запер Сиверко и просекой побежал в Залесье к бывшему дому Изяса.

Глава IV

На следующий день Грач углядел всадников из Залесья едва ли не на середине просеки. Злат вошёл в избу, почти пританцовывая, как спущенный с коновязи жеребчик. Его верноподанные Скурат, Добес и Верига переглядывались и хмуро озирали дом. Злат отцепил от пояса ножны с палашом, присмотрелся и повесил на видном месте, на вбитый в стену гвоздь. Отошёл на шаг и одобритительно кивнул.

– Мы у тебя похозяйничаем? – то ли спросил, то ли разрешил сам себе Злат. – Лавки переставим, чтобы людям сесть как надо.

Грач пожал плечами. Скурат с Веригой заскрипели по полу тяжелыми дощатыми лавками.

Первым явился кузнец Бравлин с подмастерьем. Шагнул в горницу, вдохнул, чтобы на весь дом поздороваться, да что-то засмутился. Уселся на лавку у стены, сложил ручищи на коленях и уставился перед собой на палаш, часто моргая и не шевелясь.

– Что, мастер, нравится? – негромко спросил Златовид. – Смог бы такой же сработать?

– Смог, конечно! – с готовностью гаркнул кузнец и опять смутился. – Только не наша это работа, – добавил потише. – У нас змеев не делают. Это дэвская работа, таких за Степью полным-полно. Их ратники сотнями притаскивали!

– Ве-ерно, – похвалил Злат, но как-то кислотовато. Не понравилось ему, как определил кузнец, откуда палаш мог взяться.

В сенях затопали, отряхивая снег. Вошли Гоеслав и Млад, а за ними, чуть замешкавшись старый воин Ратко.

– Добрый-добрый день! – Злат вышел навстречу. – Как погода?

– Зима, право слово! – проворчал Гоес. – И снег, и тучи...

Посадские прошли, расселись на лавках поближе к Бравлину.

– Такая вот жизнь, – обронил Гоес.

– Тяжелая? – живо уточнил Злат, стоя к нему боком и глядя себе под ноги.

– Да есть, от чего потужить! – согласился Гоес. – Я говорю, вот как той осенью ни одного коня не продали, так и с весны купцы жмутся. В Степи, сказывают, кони дешевле да лучше! За что только воевали... Конюх Мироша Чурилыч говорил уж, небось?

– Понимаю, – кивал Злат, – понимаю.

– А ты пожалей, пожалей его, Златовидка! – раздалось напористо. Гоеслав аж вздрогнул.

В дом входили слободские конновладельцы – Венциз и его брат. Венциз отдал кому-то шапку, кажется Вериге, топнул ногой, сбивая с сапога снег, и прошёл на середину горницы:

– Здравьте вам всем! – (Старший брательник его держался у него за спиной).

– Да что же мне, в убыток хозяйствовать, себя обделять, что ли? – заворчал Гоес и вдруг вскочил, тыча в Венциза пальцем: – А ты, ты мне, в родной посад – в общину, где голоштаным бегал! – коней втридорога продаёшь! За чубарого в яблоках столько запросил – на те деньги бархату сорок локтей купить можно!

– Мои кони ценные, – точь-в-точь как Изяс, перебил Венцизслав. – Мои – упряжные, тяжеловозы.

– Да на твоём дворе, – вскипел посадский конюший, – на твоём дворе все кони краденые!

– Как так! – Венциз аж задохнулся.

– Краденые, краденые! У меня, у него и у него краденые, – Гоеслав ткнул поочередно в себя, в Млада и в Бравлина.

– Врешь, конюший! – Венциз поднял кулаки. – Кто хотел, тот и уходил из общины! Честный дележ был! Я как все жребий тянул. Сам в слободе конный двор ставил, у тебя помощи не просил. Никому не должен! А что после Рати не верховые, а упряжные кони понадобятся,

это тебе и Ладис говорил, покуда жив был. Он тебе, тебе первому житья не давал. Это ты, ты натравил на него вот этих, которые тут сейчас... – Венциз в запальчивости махнул рукой на Златовида и Грача, да вдруг прикусил язык и втянул голову в плечи. Исподтишка глянул на Златовида.

Златовид, чуть скалясь, улыбался, держа руки на поясе и покачиваясь на носочках. Грач медленно покрылся испариной, по спине побежали мурашки, ноги одеревенели. Венциз крякнул и поднял к затылку руки, чтобы поправить шапку. Шапки не было, он пригладил волосы.

Все молча глядели в пол, только староста Млад неуютно покашливал. Венциз зачем-то посмотрел на Грача и поморщился. Грач напрягся, можно подумать, его считают главным виновником того, что случилось. Он перехватил взгляд Златовида. Злат презрительно усмехался.

– А ты, брат, загнул, что сам свой двор ставил, – пробурчал, спасая положение, Гоеслав, – не про тебя это: тебе пузо мешает!

– А пузом и тебя не обидели, – не спустил Венциз, оба перешли на личности.

– Да у тебя тоже матерний дед – водяной! – не унимался Гоес. – Домовой шалит, леший в чашу заводит, а водяной топит. Топит!

– Врёшь!

– Ша, ша, ша! – остужая, подскочил Златовид.

– Не водяной, так жихарь!

– Врёшь! Врёшь!

Златовид зыркнул на Скурата. Рыжебородый пихнул в бок Венциза, с силой надавил и усадил его на лавку подле Гоеса. Сам сел между ними. Ругаться через его голову стало неловко, перебранка погасла.

– Мы же собирались говорить о Плоскогорье, – упрекнул Злат и голос у него вдруг сделался жёстким. – Я пришёл не с пустыми руками. Но принёс не подарки. Принёс напоминание о долге! О долге человека, чистого пусть не по крови, но по духу, – стрелок уставился на Венциза, конновладелец под его взглядом съёжился. – Долг! В исполнении долга – ваше спасение. Вождь стрелков всеславный Вольх Вещий купит ваших коней – верховых, упряжных, любых. Стрелкам нужны кони. Потому как много месяцев уже идёт война с теми, кого зовут нечистью.

Над головой Златовида висел на стене тяжёлый палаш с почерневшей от пота рукоятью. Плоскогорские старшины и конновладельцы молча подняли на него глаза.

– Я пришёл не один. Со мной пришла весть о войне. Лобасты подняли мечи в горах. Лешаки взялись за топоры на Смородине. Из городов им платят серебром жихари и богарты, что торгуют вином и опьяняющим зельем. Обидам нет числа, а память им – многие поколения. Водяной всего лишь топит, но берегини, русальи и вилы совращают наших бойцов на блуд, чтоб чистые люди выродились, чтобы некому было биться.

– Вон отсюда... – выдавил Грач. Это Златка напоминал ему, что он – вырожденец и полунечисть, что его мать будто бы совратила отца. – Вон отсюда... – выдавил он, но никто его не услышал, и он проглотил оскорбление. Грач не встал, не ушёл, не хлопнул за собой дверь. Ведь это его дом, покидать-то свой дом он не собирался.

– Вы помните? Полвека назад они жили на этой земле, – Злат топнул ногой, – вот, в Навьем лесу, – он показал рукой за окно. – Они платили за соседство злобой, а наши лошади не подпускали их на пять шагов. Вы помните, как наши деды вступили в Опричное Братство и выгнали нечисть из Плоскогорья?

– Было, это было! – заволновался старый опричник Ратко.

Златовид перечислил все ссоры и столкновения с лесным и водяным народом, всякого рода вилин морок, навью порчу, ведьмины круги, дурной глаз, пагубу скота, наведённый сап, насланный ящур, накликаемый падёж. Венциз-конеvod ушёл в себя, словно рак в раковину,

и выглядывал диковато, выжидая, чем дело кончится. Бравлин неуютно мялся, бестолково разглядывая ладони.

Уже вечерело, огня в темноте никто не зажигал. Златовид говорил о подхваченном знамени и о крепких руках, охраняющих покой в низовьях Жаль-реки и Пучая, говорил о битвах в горах и лесах, а Скурат расписывал поход к Чёрной Грязи некоего Гвездояра. Оказалось, Злат принимал участие в приступе Калинового Моста – тот город был полон нелюдских слобод. А ещё Злат говорил о марше вверх по Смородине и о лешаках, вооружённых булавами и секирами.

– Лешаки – злые... У них – топоры, секиры, пращи с камнями. Мне говорили, что перед боевым топором меч – ничто, я не верил, а теперь знаю, – Златовид вдруг охрип, и слова стал выговаривать нечётко. – Они нас ждали... Кто-то предал, завёл в засады. Но те убиты – те, на кого я думаю... Полк поредел, а их больше, много больше, чем нас. Гвездояра нет, полк разбит, а я – тут. Я тут, а Вольх ждёт, когда вы исполните свой долг.

Вдруг его губы искривились, и Грач понял, что Злат не играет. Злат глядел мимо всех в угол горницы. Пережидая спазм, он бесцельно поправлял перевязь. Потом постарался взять себя в руки и что-то сказать – кажется, про Путьшу и Ярца, про местных парней, но только кадык прошёлся вверх-вниз по горлу.

– Гм, – издал Гоес, – понятно... А Ярц – хороший был мальчик... Ну, и Путьша тоже.

Злат вскинулся, упёрся глазами в Венциза:

– Да будь у нас кони – мы бы лешаков порубили. К коню ни одна нечисть не подступится! Вот потому-то Вольх и купит коней – много, дорого, любимых! А за парадных – особо заплатит. Они нам, когда победим, пригодятся. Эй, Бравлин! Нужны подковы, сбруя, доспехи и оружие! Бравлин, можешь нанять работников. Станешь нашим оружейником, – назначил Златовид.

Кузнец вздрогнул и забормотал что-то невнятное.

– Кожевники нужны, – предположил Млад и умолк, испугавшись.

– Нужны! – неожиданно поддержал Гоес. – От них же сёдла и упряжь.

Всему Плоскогорью было известно, что община общиной, но старший конюший имеет негласный доход от частных шорников.

– Кожевники тоже годятся, – решил Златовид. – Опытные мастера-то хоть есть?

– Все мастера в Залесье, – перебил Венциз. – А лучший – Севрюк, коновалов родич.

– Севрюк? Я запомню. Севрюк... – отметил Злат. – Нам не только сёдла, нам для всадников сапоги нужны.

Коноводы зашумели, перебивая друг друга. Нашлись и сапожники, и скорняки, и медники – делать удила и трензели, и деревщики – тачать для стрелков стрелы, и точильщики – затачивать для стрел наконечники.

«А слаще мести и обид – одна только власть бывает. С ней даже слобода медоваров не надобна, пусть они хоть всей артелью расстараются...»

Без шлема, но с мечом у пояса, не задерживаясь, шёл по горницам Язычник. Клок волос вздрагивал на его темени. Свет мерцал в зеркалах и на гранёной плитке, туманился по шёлковым обоям и пропадал где-то в тени на высоком потолке. Ещё одни тяжёлые двери раскрылись. Следом за ним вошёл и Зверёныш. Держась за правой рукой Язычника, он изображал оруженосца.

– Роскошествуют они тут, – презирая, бросил Язычник. Свет из стрельчатых окошек неуверенно метался по полутемной зале. – А вот я – воин. Сплю, кладу под голову седло.

– Тут в пору князю жить, – протянул Зверёныш, оглядываясь.

– Он и жил, – откашлялся Язычник. – Его это дворище было. Теперь тут совет посадников.

Их встретили. Высокий человек с бородкой назвался тысяцким. Ещё шестерых крепких мужей тысяцкий назвал «градскими старцами».

– Старейшины лучших в городе семейств, – пояснил он, и «старцы» горделиво качнули чёрными бородами.

– Чего посадники не явились? – оборвал Язычник.

Тысяцкий приосанился и надменно сказал:

– Я уполномочен сообщить, что наш господин-город Калинов Мост берёт тебя, Вольгучника, на службу. Но злодей и вор Язычник пускай за стеною останется.

– Кому-то я тут не нравлюсь? – Вольга-Язычник выдохнул, отцедив воздух сквозь зубы, а Зверёныш даже руку на саблю положил от его голоса. – Посадникам моё золото не по вкусу пришлось? Или мало оружия мои люди им показали?

Тысяцкий недовольно поворотил нос и, сдерживаясь, неторопливо выговорил:

– Лучшие люди города постановили, чтобы ты жил не здесь, не на прежнем князем городище, а там, за городом, и чтобы людей держал при себе не более пятисот, и чтобы кормился от артелей медоваров и рыбаков, но не сверх положенной меры. Весною лучшие люди дозвоят тебе распахать поле, какое укажут.

– Укажут? – Язычник не вытерпел. – Лучшие люди – да кто это, чем они лучшие?

Тысяцкий закатил глаза, попросил Долю-Судьбу о терпении и выговорил, глядя поверх головы Язычника:

– Купеческие сотни суконников и шелковников держат иноземную торговлю и связи с Буяном-островом. У них – деньги, люди, корабли, пристани и товары. Они велят тебе, Вольгучнику: в город ты не вступаешь, а дозорами и разъездами бережешь дороги и подступы. Сверх того ты обязуешься известить на Смородине и Чёрной Грязи речной разбой и ушкуйников, что помимо тебя до сей поры имеются.

Язычник выслушал, а Зверёныш не понял, что отразилось в его глазах. Сам бы он ни за что не спорил с теми, кто так глядит.

– Это с пятьюстами людей? – тихо спросил Язычник. – Порядок в городе и его охрану – пятью сотнями бойцов?

Тысяцкий мотнул головой:

– Нет, не охрану. За тобой одни дозоры. Порядок в городе берегу я с моим ополчением. Я же – тысяцкий.

– Стало быть, я, вооружённый, – протянул Язычник, – даже при беспорядках не выхожу на улицу без твоего ведома?

Полные сил «градские старцы» закивали. Тысяцкий важно молчал. На том и расстались. Зверёныш сопровождал Язычника до выхода из палат и с дворища. Последние ворота закрылись за ними.

На мостовую, мощённую камнем, мелко сыпался колючий снежок. Вдоль улиц гулял ветер, холодом тянуло с ещё не замерзшей реки.

Прямо на улице их поджидали. Они назвались старостами промысловых соседств. Назвались по одному – медовары, рыбаки, солевары. Ждали его давно. С утра, наверное, если судить по замёрзшим носам.

– Мир вам, Всеславный Вольга, здравствуйте, Вольга Вещий, – кланялись они уважительно в пояс, но без заискивания.

Язычник приостановился. Склонил бычью шею, будто в ответ поприветствовал:

– Чем сумею, помогу, – сказал, – просите. Я при золоте, при людях – если кому ссуду или защиту надо, спрашивайте. От избытка и бараклом помогу. Или рассудить с кем по правде? Мне тут... милость от посадников вышла! – он усмехнулся: – Жить за стеной города, да в кормлении поприжаться и в людях урезаться. Чего ж вы попросите?

Старосты отошли и живо промеж себя заговорили. Потом закивали головами и выпустили вперёд медовара:

– Мы тут сообща порешили, – сказал он, зачем-то потирая руки. – Ты, Всеславный, сверх посадничьей меры кормись-ка у нас. И воск, и мёд тебе будет, и рыба вон от него, – он показал на старосту рыбников, – и солонина кое-какая.

Язычник опять усмехнулся, довольный и властно:

– А скажите-ка, людишки добрые, вот за пристанью чьи улочки идут рядами?

– За пристанью? Так чёрный люд, – староста удивился. – Ярыжки всякие: посадские людишки работные. Гребцы, бурлаки, подёнщики.

– А далеко от них гостиный двор Буяна-острова?

– Так сразу за торгами! Тут торжище, а там – гостиный двор.

– А тот гостиный двор, он и вправду как город в городе?

– Еще бы! Своя стена с воротами, свои законы, свой суд! – староста оживился. – Подданство у них своё, буянское. Если на буянца жаловаться, то не к нам надо идти, а к ним. А народец-то у них, так скажу, разный, – староста кисло поморщился. – Людей-то больше всего, врать не стану, но есть и фавны, и сатиры.

– Любят их? – обронил Язычник. – Ярыжки-то ваши?

– А чего, фавнов, любить? Шелка их даже нам дороги. А ярыжкам шёлк вовсе не по чину.

– Так-так, – Язычник запоминал. – А что, мил друг, ваш тысяцкий и вправду большой человек? Без него ни людей собрать, ни волнения пресечь?

– У-у! Тысяцкий в Калиновом Мосту – набольший человек по старшем посаднике!

Язычник ухмыльнулся, а Зверёныш не забыл эту ухмылку. Спустя много дней и месяцев – и то вспоминал её. Чёрная была улыбка – то ли из-за давно выбитого зуба, то ли тень так на лицо упала.

Позднее – а произошло это дня через три – некие молодцы с луками заняли среди ночи улицы вокруг двора тысяцкого. Далеко за кузнецкой слободой загомонили, истошно взвился и угас бабий крик. Заиграло по ночному небу зарево. Дыма ещё не чувствовалось, но ветер вот-вот донесёт его. Смута, как говорили, началась с торжища, что за пристанью.

Зверёныш распорядился лучниками. На дворе тысяцкого за бревенчатой оградой, почуяв огонь, залаяли псы. Завизжала девчонка-подросток – дочка тысяцкого. Топоча, забегали по двору люди. Распахнулось над воротами слуховое оконце.

– Стреляй, – Зверёныш первым спустил лук.

Десяток стрел утыкали ворота. Оконце тут же захлопнулось. Собак дрожащими голосами уняли. Тысяцкий на всю ночь оказался заперт у себя в тереме.

Позже говорили, что погромы начались из-за буянского фавна-шелковника, который то ли обсчитал, то ли вовсе отогнал от лотков бурлака с чёрной слободки.

– Не по рылу портянки, – так и сказал, говорят. Те всей артелью обозлились, разнесли шелковникам столы и лавки и, вроде бы, убили того фавна.

Другие говорили обратное: мол, кто-то из ярыжек украл штуку шелка, а фавны и сатиры выследили его и долго избивали. Полуживой, дополз ярыжка до своих и просил всю чёрную слободку за него рассчитаться.

Третьи и четвёртые говорили своё: с разных углов торжища виделось разное. Но полгорода видели, как сатиры и фавны с воплями несли убитого по улицам. Все как один – кучерявые, узкоглазые, коротконогие, все в один голос кричали, требуя:

– Розыска! Розыска! Суда и расплаты! Розыска!

Навстречу с чёрной слободки выбирались угрюмые ярыги с дубьём и кольями. Кто-то крикнул про «козлоногих». Смута охватила весь торговый конец города. Бросив товары и спасаясь, буянские подданные фавны, сатиры, наяды, дриады и прочие укрылись в гостинном дворе за высокими стенами. Гостиный двор сел в осаду, а кругом него по всем улицам загорелись

дома жихарей и богартов, живших в Калиновом Мосту отродясь. Ярыги опрокинули на улицах рогатки, снесли заставы и избili цепами для молотьбы стражу.

– Разгуляюсь, кровушки отведаю! – вопил волосатый бурлак с топором, когда ломились в ворота гостиного двора.

Пробил и оборвался набат – кто-то вооружённый луком не допускал бить тревогу и сзывать городское войско. Погнали конного гонца к тысяцкому, но гонец пропал и не вернулся. Парни Зверёныша сбили его с коня на мостовую, скрутили и бросили под забором. Только толстогубый Ярец нагнулся к нему и промямлил:

– Ты это... Короче, не рыпайся. Тут всё по-правильному, по-нашему.

В ночи пламенем до неба запылали приказные избы суконной и шелковой купеческих сотен. Те, кто видели, клялись, что избы запылали с крыш, как бывает лишь от осадных стрел с горящей паклей. Но ни стрелков, ни самих стрел так и не нашли (на то и улики, чтобы сгореть без следа).

День спустя на вечерую площадь стащили мёртвых, и приказный розыскной дьяк лично пересчитал тела. С его слов записали, что умерло от огня и побоев тридцать сатиров и фавнов, но очевидцы уверяли, что убитых было более ста и все они работали прежде на лучших людей города.

Гостиный двор тогда выстоял. Его частокол с одного боку зажгли, но сырые дубовые бревна не разгорелись. Три дня буянцы не выходили из крепости. Только раз или два люди видали голубей, что уносились с гостиного двора в сторону моря и Буяна-острова. Позже пришли корабли, и буянский двор опустел. На нанятых кораблях длинной вереницей уходили вниз по реке буянцы, навек покидая Калинов Мост. Жить и торговать здесь стало смертельно опасно.

Месяцы спустя, когда обыватели пересказывали, что происходило на самом деле, они боязливо оглядывались на бывшее княжье дворище, где жил теперь Вольга-Язычник. На днях, рассказывают, кто-то подрубил на звоннице крепления, и вечерой колокол с гулким боем сверзился на мостовую и раскололся. Кусок меди, отлетев, попал в голову лошади посадника, что нечаянно оказался на этом месте в этот час.

А еще, старые артельщики рассказывают, что болтунов, пересказывающих такие вещи, после вылавливают в реке пониже города – всех как одного с выдранными языками.

– Как теперь не почитать благодетеля? – спрашивал дед-артельщик. – Не спрашивай меня потом, почему молчали да не возмущались. Почёт и слава ему, отцу-то родному. Без славы она и власть не всласть, – так все говорят: и медники, и коновалы, и оружейники, и шорники.

В тот вечер коневоды разошлись за полночь. Уходя, Венциз шурился, что-то подсчитывая, а Гоеслав весь лоснился от важности. У просеки на распутье опять остановились и долго размахивали руками, крича про кузницы и шорников. Когда разошлись, то Грачу казалось, что они и через лес перекрикиваются.

«Это не моё дело, – решил Грач, – я им не советчик», – он гнал от себя досаду, возникшую от слов Златовида, но какая-то пустота и ощущение никчемности сдавили сердце похуже недавнего. Из памяти извлеклось на свет всё, за что было обидно и стыдно: прежние грехи, изгойство, Гоесово пренебрежение, Златово снисхождение.

Миновал третий день, а на верстачке всё лежала, будто ненужная, шкатулка с подарком для Руны. Вот – само неумение объясниться с Руной терзало его. Грач взял заветную шкатулку, погладил резную крышку. Решился, сунул подарок за пазуху и выбежал к Сиверко. Понёсся верхом по просеке.

В Руне единственной, может стать, смысл его жизни. Без неё – пустота. Собственная ненужность раздавит его. Наверное, с Руной он изменится. Да нет, он горы для неё свернёт! Вот только бы... пусть бы это оказалось не мечтой, а правдой. Чтобы потом не презирать себя.

– Я скажу ей, сегодня же и скажу ей... – он запнулся. – Скажу, что в шкатулке – моя судьба. Она поймёт, сумеет понять, – он судорожно вздохнул. – Нет, я ей скажу, что в шкатулке лежит кольцо... Которое я сделал для любимой.

На первой улице в Залесье он увидел Власту. С корзиной для рукоделия она куда-то уходила.

– Тётя Власта! – окликнул он на скаку, догоняя её и осаживая Сиверко. – Здравсьте, рад видеть вас, – Грач, в общем-то, был виноват перед ней за недавнее и хотел извиниться.

– Коли так, здравствуй.

– В лавочку собрались? – он соскочил с седла в снег.

– Да нет, я – посидеть к приятельнице...

– Руна дома или ушла? – Грач не дослушал. Он был неестественно весел, бодр и, как ему казалось, полон решимости.

– Руна-то? Она тут. С девчонками и парнями погулять пошла. А ты что-то хотел?

– Жаль...

Действительно жаль. Шкатулочка тёрлась за пазухой. Мнимая решимость сменилась трусоватым облегчением. Может, оно-то и хорошо, что не сегодня?

– А какие новости? – поскучев, спросил просто так, чтобы не обрывать разговора.

– Новости-то? – Власта загадочно заулыбалась.

Грач с безразличием уставился на шиповник, от нечего делать он склонился у плетня, чтобы отгрести от зеленеющего кустика снег.

– Руночке-то нашей в любви изъяснялись! – прозвучало над ним.

– Кто? – охнул Грач. Хорошо, что отвернулся к злосчастному кусту, спасло это, позволило с лицом совладать и дыхание перевести. – Да кто? – повторил омертвело.

– А Севрюк, – обрадовала Власта, – шорник с коноваловой улицы. Он теперь гордый стал, важный, как же, от Златовида заказ получил, – сообщила польщено. – Я, говорит ей, с детства тебя люблю. Представляешь?

– М-гм... – выдавил Грач, зачем-то озираясь и ощупывая под рубашкой шкатулку – где-то возле сердца и селезёнки.

– Но она его отвергла! – воскликнула Власта с таким восторгом, словно не дочери, а ей самой в любви изъяснялись.

Не успел Грач облегченно вздохнуть, как Власта добавила с едва скрываемой гордостью:

– А ещё Верига, Златов стрелок, к ней посватался. Руки попросил! Я, говорит, у стрелков в чести и в почёте! Но она и его отвергла. Представляешь? Двоих за три дня.

Грач стиснул зубы и взглянул на Власту. Та была счастлива. Кажется, в количестве поклонников дочери ей чудился какой-то личный успех. Грача передернуло. Озноб забил его, и он обхватил себя руками за плечи.

– Я смотрю, Верига ей больше понравился, – доверительно сообщила Власта. – Он и наездник видный, и собой хорош... Ну, что мне с ней делать? – она точно спохватилась, пряча женское счастье за материнским укором. – Что ты мне посоветуешь? Цветослав, ты ей почти как брат, вы вместе росли.

Грач взвился и, стискивая зубы, выкрикнул зло и обессилено:

– Почему я обязан советовать?! Кто я ей?...

Власта оторопела. Грач прикусил язык и добавил тоном ниже:

– Сама разберётся. Не маленькая.

– Не маленькая, – не слишком-то в это веря, согласилась Власта. – Сегодня её Златовид пригласил покататься на лошадях – так пошла, про Веригу не вспомнила, – заметила с иронией. – Ты, говорит, мама, и не думай, Злат мне не объяснялся, он просто друг, – и снова сквозь смешинки слышались затаённые радость и волнение.

– Златовид? – переспросил Грач, будто взмолился.

– Ну да... – Власта внимательно посмотрела на него. – А твои как дела? – вдруг сменила тему.

– Да, дела... – Грач заторопился, точно вспомнил что-то. – Пора мне. Едва не забыл.

Суетясь, он взобрался на Сиверко и во весь дух погнал его к хутору. А влетев на двор, едва расседлал коня, вбежал в горницу и с разбегу бросился на стену, колотя по ней кулаками.

– Тюрьма моя... Никогда, никогда мне не повезет... Гад я... Несчастный...

Шкатулка выскользнула из-за пазухи и ударилась об пол. Обречённый он уставился на неё. Она не разбилась.

– Ру-уна, – застонал он. – Ну почему? Почему опаздываю всегда я, а не Севрюк с Веригой? За что мне это наказание! – Он схватил шлифованный до зеркальной поверхности поднос. Оттуда на него глянуло чернявое с испуганными глазами лицо. – Это ты виноват! – крикнул он и врезал кулаком по зеркалу. Зажатый в руке поднос отшатнулся, глухо звякнул, отражение сделалось злым. – Ты тянул, ты медлил – зачем? Чего ты ждал? Боялся! Ты изменить себя и свою жизнь боялся. Ты – трус. Как же, что люди подумают! Изгой, а возомнил о себе! – Он запустил подносом в угол горницы.

Поднос со звоном отскочил, покатился, опрокинулся, крутясь и громыхая. Грач и сам вздрогнул от грохота. С дрожью прилетело отчаяние с готовыми хлынуть слезами.

– Почему именно я – изгой? Я же хотел малого. Хотел, чтобы она была рядом. Почему не сбылось? За что? – Вдруг в горечи пришло осознание: – Это мне за прошлое. За Снежку... За Чайку... За Ладиса... Три загубленные жизни. Загублена и моя, – осознание не облегчило муки, а обрекло на ещё горшие. – Что – не будет прощения? – спросил он, оглядываясь по сторонам. – Никогда? Даже если я признаю, что был подл, что хотел бы всё исправить, да не могу! Нечем.

Захотелось забыться и скорчиться на полу, как зародыш, а неподвижно лёжа, всё время надеяться, надеяться, надеяться... Он бесцельно ласкал и гладил шкатулку, будто утешал её:

– Ну, не всё, не всё ещё позади, верю, что не всё. Может быть, потом, когда-нибудь, если даст Судьба-Доля, что-то ещё сложится. Не сейчас. Пусть потом.

Он осторожно вернулся к Сиверко, поторчал на пороге конюшни. Жеребчик, брошенный впопыхах, потянулся мордой к кормушке. Грач вздохнул. Сиверко поднял голову, ласково ткнулся Грачу в плечо. Тот обнял его.

– Что, Сиверко, что? – Грач грустно улыбнулся. – Опять хочешь гулять?

Сиверко что-то пошевелил губами.

– Давай без седла, а?

Сиверко был не против.

Вырвавшись, жеребчик понёс Грача мимо леса, чуть подкидывая его, вцепившегося в гриву руками. Дорога вилась одна и та же, свернуть некуда, и потому принёс он Грача к Приречью и по привычке замедлил шаг перед кузнечным двором.

Грач издали услышал стук топоров. Это было ново: в посаде давно не строились. Ватага посадских мужиков с гиканьем растаскивали крючьями и шестами старую кузницу по брёвнышку. Брёвна отгаскивали в сторону. Дощатый забор повалили. Рядом стояли стрелки да покрикивали, а из-за угла Бравлинова дома поглядывал рыжебородый Скурат.

– Эй, дай дорогу, Грач! – рявкнули сзади. Грач дёрнул коня в сторону, мимо проволокли свежеспиленные сосны с отсечёнными сучьями.

На отдалении Бравлин, морщась, как от боли, смотрел на слом своей кузницы.

– Бравлин, Бравлин! – наседали на него ловкие ребята из посадских. – Пиши скорей в подмастерья. Уж теперь-то в кузнеце навар будет!

Грач, уставившись коню в гриву, проскакал туда, где гомонила и волновалась толчея народу. Один мужичок проскочил мимо Сиверко и на бегу толкнул Грача в колено:

– Коробейники пришли, скачи давай!

Площадка и улица за кузнечным двором пестрели от лотков. На утопанном снегу лежали ларцы и коробки, из-под крышек свешивался на снег яркий атлас, перетекали-переливались цветные платки и шали.

Громче всех выкликал офенский атаман в алом кушаке:

– Эх, подходи-налетай, гляди в оба, не зевай!

Грач признал Сланьку-коробейника. Сланька был свой, плоскогорский. Заломив на маковку шапку-боярку, коробейник цедил сквозь зубы товарищу:

– А мас в эту курёху ещё той меркутью прихандырил!¹

Говорил Сланька на тайном языке – на фене. Сланька – потомственный коробейник, феня для него – речь изворотливых и успешных. От него Златик и Грач ещё мальчишками нахватались офенских слов.

Теперь к раскинувшему товар Сланьке чуть враскачку подошёл Златовид:

– Сланя, а ты ведь парень – смекалистый, да?

Сланька поднял лицо с хитрыми глазками:

– Ну-у? – пропел он.

– По дружбе скажу, Сланя, – Злат поигрывал палашом в ножнах, – тряпочками и ленточками ты много здесь не наваришь.

Сланька прищурился. Посмотрел на палаш в ножнах. Насторожился.

– Нет-нет, – успокоил Злат. – Я тебя не гоню, торгуй, если хочешь, но...

Помолчали. Сланька был терпелив, он поглядывал на народ, на стрелков, что были без кольчуг, но с саблями, и ждал продолжения.

– Вот, как сообразишь, что здесь к чему, так и войдешь со мной в долю, – Злат дал ему время осмыслить. – Вернёшься домой в Карачар – так не замедли, выйди на приказных из купеческих сотен со Святых гор...

Сланька присвистнул:

– Ха! Купеческие сотни Святых гор – не чета офеням. Совсем другая масть, слышишь?

– Слушай-ка меня, Сланька. Мне нужно железо, – попросил Злат. – Нужна выплавка для новых кузниц, – настаивал он. – Ты подсажи купцам, – посоветовал, – направь, дорогу сюда укажи. Без выгоды не останешься!

– А много ли надобно? – Сланька хитро заулыбался. – Целый воз тебе, что ли?

– Да нет, целый караван, – Злат стиснул зубы. – А потом ещё: караван за караваном.

Плачу не я. Платит Вольх Всеславный.

Лицо у Сланьки вытянулось. Он даже глаза выпучил, соображая.

– Ты пронырливый, Сланя, ты во всякую дыру пролезешь, – уговорил Злат, махнул рукой на прощание и отошёл.

Коробейник хмыкнул, поглядел Злату вслед да процедил напарнику:

– То-то мас и зырит: полна трущей курёха², – потом окинул глазами товар, хлопнул шапкой о колено и пустился в распродажу: – Бабоньки-девоньки, сударки-сударушки, подходи-подбирай – что упало, не теряй! У иных что не найдёшь – ворох у меня возмёмшь!

Сланька ловко отмерял парчу локтями да растопыренными пядями. Зазвенели серебряки, вокруг завязалась суета, толчея, колготня. Звон монет смешался с девичьим щебетом, мужичьим баском, бабьим говорком:

– Сланька! Ой, что это в шкатулочках? Бусики почём, а, Сланечка?

– А сапоги-то есть? А шапки? А кунтуши? Кунтушей нету!

– Сланька, а почём штука шёлка?

¹ А я в это село ещё прошлой ночью пришёл! (офенское)

² Вот я и вижу, что село полно ратников (офенск.)

– Ворогу продам втридорога, а друзьям за так отдам, – Сланька как будто отшучивался, а сам косо поглядывал на стрелков. – Эх, налетай-выбирай! Шелка, атласа! Бусы, кольца, пояса! И продам, и поменяю! Что даёте, покупаю! Всё для вас, красотишки, всё для вас, лебёдушки!

Лебёдушки тут же принесли Сланьке своих шелков да атласов, а мужики попытались продать кто сапоги, кто шапки. Коробейник намётанным глазом признал товары из Калинова Моста. А в стороне стоял Злат и поигрывал ножнами с палашом.

– Целый караван тебе, значит. Оружейного железа. Понима-аю... – и Сланька толстым пальцем показал корешу-напарнику клейма калиновских мастеров на сапогах и шёлке.

Златовид многозначительно кивнул.

– Эх, дорогие-близкие, дешёвые-дальние, – сникшим голосом зазывал Сланька. – Новость я привёз приятную и даже бесплатную. По-ра-а себя наряжать, гостя доброго встречать. Ждите гостя скоро, бежит он споро, не купец и товар, а певец и гусяр...

– Эй, ты это о чём? Не томи!

– А ты купи сапожки да девочке серёжки! Добрый гость – что в засуху дождь. Боян идёт удалый – ни молодой, ни старый! В Карачаре уже бывал, я на два дня его обогнал... Асень! Асень к вам спешит. Завтра здесь будет.

– Погоди-погоди, да неужто... А-ах! – разлилось по базару. – Сам Асень идёт!

– Кто?! – взвилось над людьми. – Кто сюда идёт?! – Златовид аж побелел, не владея собой.

– Злат, ты чего... – крикнул и оборвался девичий голосок. – Это же Асень...

Это же вечный певец, дивный гусяр. Вот, говорят, что Асень с годами не меняется. Мать говорила Грачу, что и он видел Асенья в детстве, но только не помнит.

А Златовид вспыхнул и как сорвался, зашагав сквозь толпу. Все шарахнулись, когда он дёрнул из ножен палаш. Кто-то заахал, другой запричитал. На мгновение Злат замер перед Сланькой, коробейник открыл рот, заслонился руками с толстыми пальцами... Сейчас вот опять взметнется сталь, что-то хрястнет и плоть обрушится на землю. Златовид сдержался. Шагнул мимо Сланьки и ударил наотмашь по торчащему поверх забора бревну. Под палашом брызнули щепки, прочь покатился обрубок. Забор покосился, собираясь упасть.

Злат обернулся:

– Эй, Сланька. Добудешь мне железо, прошу! Мне только оружейное, караван за караваном, – и быстро зашагал к своим, туда, где ломали кузню.

С коня Грачу было видно, как возле кузницы Злат приступил к стайке мальчишек лет тринадцати-четырнадцати и, будто хвалясь, показал им палаш. Клинок был разочаровывающе чист и не дымился от крови.

– Златка, ну почему ты не убил его? Он же мошенник!

Златовид, щурясь, рассматривал требовательного пацана.

– Мы мечи ковать станем, – не ответил он. – Гляди и запоминай! Вот такой – зовётся палаш. А бывает «королевский» меч. У «королевского» конец скруглён, а по длине клинка – желоб. Знаешь зачем? Чтобы кровь стекала. А бывает кончар. Кончар без желоба, но гранёный, а конец острый и заточенный, как шило. Это чтобы и кольчугу, и рёбра – протыкать на фиг.

У мальчишек разгорелись глаза. Все с явным удовольствием потрогали лезвие и грани клинка.

– А есть меч и больше этого, – сказал Злат. – Скурат! Принеси кузнечные образцы!

Рыжебородый Скурат приволок завёрнутую в рогожу дюжину мечей и сабель всех типов.

– Разбирай, пацаны, кто какой подымет, – разрешил Злат, а сам подхватил тяжеленный двуручный меч. – Вот он, мой любимец. Череп раскроит – шлема не заметит! Гляди, как им рубят.

Он ухватил рукоять обеими руками, при этом правая легла чуть ближе к перекладине. Поднял меч, прочертил им сбоку от себя дугу и обрушил на воздух с басовым свистом откуда-

то сверху, из-за спины. Меч прошёл в пяди от плеча одного из пацанов. Парнишка побелел, но не пожелал показать, как струсил.

– Здорово! – поклялся он с побелевшими губами.

– А то! – подтвердил Злат. – Гляди, а вот такие есть у лобастов и упырей, – Злат выбрал кривой, изогнутый меч. – Смотри, как всё у них коварно: у нас кривой меч затачивают снаружи как саблю, а эти сволочи точат изнутри как серп. Ятаган называется! Держат его остриём к себе и бьют снизу, с потягом, – Злат показал в воздухе. – Это чтобы не до смерти зарубить человека, а кишки ему выпустить. Нечисть, одно слово!

Пацаны, восклицая, разбирали ятаганы и сабли, пробовали сражаться. А Злат усмехнулся, крикнул да стянул через голову рубаху:

– Скурат, ну, поди сюда! – позвал, играя мускулами. – Ну, разомнёмся!

Скурат держал огромный топор с оглоблей вместо топорщица. Злат поднял прежний свой палаш и приоткрылся. Стали биться. Злат извивался нагим торсом, отражая удары и атакуя. Мышцы на спине и груди пружинили, глаза блестели. Ребягня с упоением глядела на палаш. А рыжебородый описал топором дугу и сверху опустил его на Злата. Тот, отражая удар, еле успел подставить палаш под топорщице.

– Во как! – крикнул Златовид. Палашом он удерживал над своей головой топорщице, но лезвие колуна перевешивалось через клинок, двух пальцев не доставая ему до темени. – Вот чем коварен лешачий топор. Вы поняли? Ничья взяла! А чуть согни я руку, так и не было бы у меня головушки.

Он скинул прочь Скуратов топор и прекратил забаву.

– Боевая секира ещё страшнее, – проговорил он, глядя куда-то мимо ребят. – Лезвие у неё большое, гнущее полумесяцем, – тянул он, будто вспоминая что-то жуткое. – А если дальний конец полумесяца заточить, чтобы колот как пика, то это бердыш получится. А насадить бердыш вместо топорщица на копье – так выйдет алебарда. А ежели с обуха ещё и острый крюк добавить... у-у... – промычал Злат, – это смерть переносная, таким крюком всадников с коня стаскивают, и латы, и мясо клочьями летят...

Злат оскалил вдруг зубы, вывернул губы и несколько раз пнул ногой снег.

– Здорово! – позавидовали пацаны, что сами такого не видали.

– Ничего, на ваш век хватит, – глядя мимо всех, бросил Злат.

А пацаны всё ещё перебирали лежащее на снегу оружие. Вдруг все вместе увидели Грача и разом повернули к нему головы:

– Гляди, это Грач едет! Он ведь убил кого-то, когда убивать ещё нельзя было.

Грач молча проехал в шаге от Златовида.

В тот зимний день, что случился перед самой весной, голые деревья были жёлты от солнца, струящегося через сетку ветвей. Вольга-Язычник настороженно ступал вдоль строя своей дружины. Дружина угрюмо молчала, и Язычник, остановившись, не сдерживаясь, пнул ногой снег. Справа на горе маячили стены Калинова Моста, слева свалены на снег обозы с добром. Вчера на этом поле горожане праздновали, «жгли на костре зиму». А сегодня Вольга захотел разделить среди дружинников всё нажитое: дары, подношения и добро, взятое на реке ушкуйничеством.

– Чаша, которую ты выбрал себе, Язычник, – разорвал тишину старый дружинник, боец с вислыми седыми усами, – одна эта чаша дороже целого обоза с сукном или табуна коней. Ты не можешь просить её сверх твоей доли!

Язычник пнул снег. Строй недовольно заворчал. Зверёныш крепче сжал губы. Уже третий день висит в воздухе это недовольство. Дружина уже и в глаза зовёт Вольгу не по имени, а по кличке. Язычник полагает, что виною тому Асень, который пел на празднике три дня кряду и возмутил верным бойцам умы. А чаша – пустой повод для раздора. Вот она, здесь –

на снегу... Искрится крутобокая, вся из золота, а шириною – руками не обнимешь. По краям филигранная вязь, всё зверье да травы, и драгоценные камни впаяны в золото – много, аж глазам больно.

– Так нельзя делить, – седоусого поддерживал весь строй, – это не по правде. Всё должно быть по нашему уговору: делить по заслугам, а при равных заслугах – поровну.

Старый боец гордо жевал усы. Язычник набылчился: напряг мощную шею, зыряка из-под выбритого лба с долгой прядью на темени. Скрестил руки, так что вздулись каменные мышцы.

– Что-нибудь ещё не нравится? – выдохнул он.

– Ты забыл нашу вольницу. Ты судишь не по правде, а как тебе выгодно. Взял много власти, равняешь нас с горожанами, а в дележе обделяешь! – в строю согласно загудели.

– Все так думают?! – жилы вздулись на бычьей шее: так у Язычника являла себя ярость.

Строй загудел громче.

– Нет! – посмел огрызнуться на всех Зверёныш.

– Не строй из себя зверя, Зверёныш, – раздраженно бросил сосед по строю. – Я думал, ты – цельный зверь, а гляжу, ты – лишь его часть!

– Даже знаю, которая, – добавил другой.

Зверёныш задохнулся: прилюдно его назвали то ли охвостьем, то ли прихвостнем. А он, телохранитель и «ближний» самого Вольги, обязан смолчать. Седоусый боец вышел из строя с палицей в руке:

– Я разрешу этот спор. Знаю как! – и с размаху опустил на золотую чашу тяжелую палицу, которой крушат железные доспехи.

Брызнули в снег драгоценные камни, чаша зазвенела, осела, промялся золотой бок. Дружинник бил и бил, сминая золотых зверей и травы. Края давно проломилась, безвидная жёлтая стружка торчала из сплющенного комка. Седоусый, усмехаясь, вытер пот и втоптал в снег цветные камешки.

– Вот так я поступал с врагами за Степью. Теперь из этого можно отлить монеты.

В наступившие затем вечер и ночь Язычник был словно не в себе. Впервые лёг спать с оружием, но не спал, а вертелся и вскакивал к окнам, как будто и здесь, в княжьем двореце, могла быть измена. Зверёнышу, денщику и телохранителю, велел спать при дверях, не раздеваясь и с мечом под рукой.

– Это из-за певца, – трясся Язычник, указывая куда-то пальцем. – Асень сводит людей с ума! Стоит ему запеть...

– Вольга! – позвал от дверей Зверёныш. – Ты просто устал. Это всё весна. Весна – очень трудное время.

– Он что-то такое спел, и все они осмелели, – не слушал Язычник, – все стали дерзить. Что он им спел, ты не помнишь?

Зверёныш захотел отвлечь Язычника:

– Про Асенья есть сказка, Вольга, говорят, он якобы живёт вечно...

– Может, он колдун? – Язычник бросился к окну, ему опять что-то померещилось. – Он так поёт – как кровь в жилах бежит.

– За окном всё тихо, Вольга, сядь и остынь. Ничто тебе не угрожает. Дружинники просто... гордятся собой, им это приятно. Это весна, Вольга, всего лишь весна.

Язычник постоял, качая длинным чубом. Потом сел на кровать, скинул с неё меч.

– А ты рассудителен, – оценил он, вглядываясь сквозь темноту в Зверёныша. – Что ты там говорил, какая сказка? Развлеки.

Зверёныш помолчал. Он жалел, что поддержал разговор про Асенья. Не всё теперь рассказывать-то хотелось...

– Да не сказка это – гиль, чушь, брехня. Брешут по деревьям, будто бы тот Асень – брат самому Нилу-кудеснику, и, якобы, есть у них на двоих четыре Царь-Камня. А один из Камней – будто бы камень Власти. Да, враньё это всё... Спишь, Вольга?

– Нет, – Язычник вздохнул. – Откуда ты, Зверёныш? Где бывал? Мне порой кажется, ты говоришь гораздо меньше, чем знаешь. А сколько тебе? Восемнадцать?

Зверёныш во тьме криво улыбнулся и не ответил.

На следующий день Вольга снова вывел дружину на загородные поля. Строй стоял в молчании. Неразделённое добро за ночь припорошило снегом, и солнце больше не играло в голых серых деревьях.

Язычник был хмур, но подозрительно сдержан. Тяжеленная палица на темляке висела на левом запястье, хотя левшой Вольга не был.

– Что ж, это значит, мы перестали быть вольницей, – Язычник нарушил молчание. – Вольнице законы не писаны – что ей до записанной правды? А мы, значит, хотим теперь по закону, по заслугам. Мы больше не ватага, мы – войско.

Медленно проходя вдоль строя, Язычник остановился перед седоусым.

– Вот ты, – сказал он. – Какие твои заслуги. Напомни-ка!

– Я не последний боец, – выговорил седоусый. – Не трус и не изменник. За спинами не отсиживался.

Вольга жёстко усмехнулся и протянул руку:

– Ну-ка, – из ножен седоусого он вытянул правой рукой саблю. – Что это? Твои заслуги? – бросил он презрительно. – Вся посечена, вся в ржавчине...

– Та ржавчина – от вражьей крови! – возмутился боец. – Я был за Степью, воевал под Иремом, я... Я товарищей выручал! – седоусый задыхался от гнева, а Язычник пренебрежительно хохотал. Вдруг он выкинул саблю в снег, прямо бойцу под ноги.

– Ну-ка, подними! – приказал он. – Сейчас же!

Седоусый побледнел, стиснул зубы и наклонился за саблей, подставив Вольге затылок. Язычник вскинул левую руку, правой перехватил палицу и, взмахнув, обрушил её на шлем седоусому.

Тот охнул и повалился на бок. Шлем и кольчужная сетка на затылке вдавились в разбитый череп. Пальца раскинутых рук скрючились и застыли. Весь строй молчал, только у Зверёныша бешено колотилось сердце.

– Вот так ты поступил с моей чашей, – закончил Язычник.

Случившееся на загородных полях долго носилось по деревьям на реке Смородине, обрастая всё новыми словами и подробностями. Как это красиво, когда некто доказывает правоту силою своих мышц. Разве не достойно это стать песней, преданием, летописью! Что? Не так? О чём же тогда слагать легенды?...

В тот день на Велесовых лугах Грач видел Руна со стайкой подруг и приятелей. Хотел поговорить, да толком не сумел – мешали посторонние. Руна была чересчур счастлива и теребила на руках заморское животное. Сказала, что это подарок Златика, что для неё он купил это у офеней. Лысый зверёнок походил на крысу и макаку, потягивал и, кажется, звался собачкой.

– Дитя малое! – бросил Грач, но Руна не услышала.

Одна из подруг странно посмотрела на Грача, не ревнует ли? Грач ревновал, но Руна не поняла, а только мило улыбалась и тискала своего уродца.

Его резная самодельщина ни в какое сравнение не шла с подарками Златовида. Грач убеждал себя, что Рунка и впрямь ещё дитя, что чего-то зрелого, серьёзного у неё и быть-то не может ни со Златом, ни с Веригой. Он вообразил, как начнёт с ней объясняться, а она примется фыркать, хлопать глазами и морщиться от раздражения. Ему стало нехорошо. стыдно и неловко.

К вечеру вконец разбитый он еле добрался до дому. Свалился на лавку, устался в дощатый потолок. За окном кто-то завозился, в стойле всхрапнул Сиверко, стукнули в дверь.

– Кого-то леший принёс, – пробормотал Грач, поднимаясь, чтобы открыть.

– Можно к тебе? – за порогом, смущённо потирая ручищи, стоял кузнец Бравлин.

– А... Заходи, – Грач растерялся. – Только я не закончил. Там кое-что осталось, – заспешил он, полагая, что Бравлин пришёл за лужёными котелками.

– Ну, здравствуй, – Бравлин неловко прошёл в горницу, сел к столу, на угол. – Не, я не за работой. Просто так зашёл, – он поглядел вокруг себя, на стены. – Ну, как живёшь-то?

Кузнец в первый раз пришёл на хутор поболтать о жизни.

– Ничего. Есть бражка. Будешь?

– Откуда ж у тебя? – поднял нос Бравлин.

– Наварил. Власта ячменём одарила.

Грач принёс кувшин с брагой и два глиняных стакана. Сели.

– Ой, Цветославик! Тяжко мне, понимаешь? – Бравлин взвесил стакан в руке и одним разом отхлебнул половину.

Грач не то чтобы понимал, но ожидал продолжения.

– Слышь, Цветослав? Соглашусь я, всё-таки! – кузнец признался как на духу. – Что на это скажешь? – потребовал. – Что гадом я стану – так?

Грач, чтобы уйти от ответа, налил из кувшина ещё.

– А правильно скажешь – не по совести это! – клял самого себя Бравлин, а Грач помалкивал. – Но ведь, как доходно это, как выгодно... Златовид этот... с Вольхом ихним... А вот не я ихнюю войну придумал, слышишь ты, не я и решаю, кому мечи ковать. Вот, понял? Не, я к Роду Людскому ничего не имею... – заверил он и опять потребовал: – Ну! Чего скажешь-то?

Грач хлебнул браги, переждал, пока перестанет щипать горло, и выдавил:

– И я ничего не имею...

– Я и говорю! – перебил Бравлин, поудобнее уселся и сам налил себе стакан. – Не-е, и не говори, раньше мы лучше жили! При Братстве все были равны. А Братство старалось, чтобы все дружили и чтобы всем жилось счастливо, – хмелея, кузнец делался всё болтливее.

А Грач выслушал, глотнул из стакана, да взял и спросил:

– Куда же твоё Братство подевалось-то?

Бравлин осушил стакан и буркнул:

– Померло! И все мы померём, – заявил так, будто собрался помереть завтра же. – Чего это Злат так на них взъярился?

Досадуя, Бравлин толкнул стакан по столу, расплескал и, расстроившись, стал вытирать рукавом пролитое.

– Наплюй, – посоветовал Грач и переставил стакан на сухое.

– Чего сразу наплюй-то?... – хмелея, не понимал Бравлин. – Род Людской-то это ведь кто? Они же как мы – лисунки, навии, берегини, – он чего-то показывал на пальцах. – Возьмет, скажем, парень за себя навию, так та родит ему либо сынка-человека, либо девку-навию. Заведено так!

Грач не спорил, кузнецу хотелось выговориться. Бравлин пил залпом, но на середине стакана вспомнил что-то важное и замычал:

– М-м-м! А из-за Асеня? Из-за Асеня – что? Чуть Сланьку не зарезал. Ну, певец, ну, гуляр – чем не угодил-то ему? Хотя скажем... Асень-то – первый друг кудесника Нила. Слышал, что про него говорят? – Бравлин, осторожничая, понизил голос.

– Я слышал, что он с ума сошел.

Кузнец заговорщицки передвинулся на край скамьи, потом пересел к Грачу и зашептал в самое ухо, дыша хмелем:

– Не-е, говорят, хоть Нил и старый, а не помрет, пока не передаст силу кому-то другому. А силы за ним большие. В народе сказывают: Камни Царские... Ох, ведь как умён он, как умён!

– Ладно, сказки-то пересказывать! – Грач отодвинулся от хмельного кузнеца.

– Сказки? – тот решил было обидеться, но передумал: – А и то верно! Но с Нилом-то ещё и Ладис знался. Помнишь Ладиса? Помнишь, как он всё у нас взбаламутил?

– Помню, – вздрогнул Грач и напрягся.

– Загубили Ладиса! Жалко, хороший был парень, умный, войною не порченный. А говорил-то как, говорил: «Слободы за лесом выстроим. Без посадских повинностей заживём...» Что? Зажили? А всё потому, что Братство скинули. Эй, ты чего? – он замер. – Ну-ка, не кисни, Цветослав! – велел бодро. – Не ты же его укокошил, Ладиса-то...

– Да как же не я? – заспорил Грач. Он тоже опьянел, в голове начинало кружиться.

– А вот не ты. И раньше, говорю тебе, лучше жили! – кузнец сурово подытожил.

– Когда раньше-то? – протянул Грач.

– Когда нас не было. В старину! – решил Бравлин. – Песню помнишь про Купаву и Радима? Вон, когда дружно жили:

Я видывал тот дом в глаза —
Та-та, та-та, та-та...
Русалки заглянут порой,
Иль старый лесовик.
– Всё, больше не помню, – сбился кузнец. – А ты?
– А я, – поморщился Грач, – больше другие слова запомнил:
Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
– Вот, зара-аза! – протянул Бравлин. – Выходит, и до нас не сладко жилось, – Бравлин, опершись на стол, поднялся. – Пойду я! Спасибо, Цветослав, за угощение.
Он отошёл к двери, помедлил.
– Не ты один, – сказал он вдруг. – Все мы здесь – изгой. В снегах, в глуши...
Кузнец тяжело вздохнул и вышел.

Глава V

Белым-бело на Плоскогорье! Бело от яблоневого и вишневого цвета, бело от искрящего по земле снега. Асень, славный певец, поднялся на Плоскогорье! Кто поёт слаще? Кто играет нежней? Чьи песни чудесней? Мальчишки разнесли по улицам весть, что Асень чуть свет поднялся на Плоскогорье.

Асень – он будто из легенд, а не из жизни. Он будто герой своей же песни. Явился в снега посреди яблоневого цвета. Разбил шалаш на выгонах за Навьим лесом – там, где мальчишки пасут жеребят. Они-то и кинулись гурьбой вокруг Навьего леса.

– Да угомонитесь вы, бешеные! Видали вы его, – засуетились матери, вытаскивая дочерям из сундуков всё самое лучшее.

Видать-то видали, да давно, в детстве, а это уже не считается, потому как не помнят они, а значит это неправда. Повсюду шум, колготня, сумятица. Старики под сто лет повылезали из домов и скрипучими голосами вещали, как сами парнями сбегали слушать Асеня. Им в уши кричали, что, они сон с явью путают, что не мог певец столько прожить, и то, якобы, был другой Асень. А старики злились и грозили палками. Молодняк вечно полагает, будто мир стоит столько, сколько они его помнят, и ни годом больше.

Асень смеялся. Вот он – вышел из шалаша, молодой и древний, страстный и тихий, буйный и мирный. Молва по миру ходит, будто солнце подарило ему глаза, море – уши, а деревья – язык. Лгут или не лгут старики? А ведь и впрямь он высок и крепок, и он же чуть сторблен и сед. Белая борода острижена и курчавой волной покрывает щёки, а из-под усов смеются губы. Глаза голубые, юные, лучатся весельем и счастьем. Певец протягивает руки плоскогорцам, приветствуя их. Гусли и рожок у него за спиной вздрагивают и норовят сами скатиться по плечам певцу в руки.

А в Плоскогорье цвели вишни и яблони. Даже здесь, за лесом, мерещился их запах...

– Ах, Асень! Милый Асень! Здравствуй! Оставайся же теперь с нами. Тут и живи, – упрашивают его ласковые девки, добрые жёнки да кое-кто из стариков.

– А я с вами, – смеётся певец, – сегодня я с вами! – и голос у него чист и звонок, мягок и добр. Как будто намешаны в нём шум деревьев, пенье птиц и журчанье ручья.

Из малышни – тот, кто посмелей – коснулся его, потрогал. Удивительно, певец живой и тёплый – всамделишный! Кто-то дёрнул Асеня за руку, увлекая: «Ну, пойдём же, пойдём!»

– Да куда же я от вас денусь! – отзывается певец ласково, и опять точно шумит в голосе листва, бегут ручьи и щебечут птицы.

Окруженный плоскогорцами Асень зашагал туда, куда увлекали. А вышло так, что набегало больше посадских, чем слобожан, певца обступили, задние толкали, и все неволью повлекли его вперёд – на дорогу в слободу, к Залесью.

Старый певец шёл споро да всё время поглядывал поверх голов, будто примечал несурязицу – и белый снег, и буйную зелень. С дерева, с птичьего гнезда посыпалась на сугроб труха, Асень лишь хитро усмехнулся и покачал головой.

Навстречу выросла толпа из Залесья, встала, заколыхалась людьми, как трава на ветру. Посадские расступились и отпустили Асеня. Тот вышел один, на общее обозрение. Так стоял и посмеивался, пока из-за спин слобожан выбирался Златовид со стрелками. А слобожане, озираясь на Злата, гудели и возмущенно роптали, их ропот волнами отражался от толпы посадских.

Стрелки были вооружены. Злат встречал певца с охраной. Охраняли его сразу пятеро: двое с боков, трое встали полумесяцем сзади. У всех под руками сабли, а желтоволосый вожак – в броне, в кольчуге, с поножами и налокотниками, без шлема. Руки обхватили крыж обнаженного дэвского меча – того самого, без желобка для стока крови.

Так и замерли у всех на глазах. Пахло цветами вишен и яблонь. Запах пьянил и кружил головы. Плоскогорцы роптали из-за испорченного праздника. Злат ёрзал, елозя острием палаша по снегу.

– Да брось ты, Златка, – кто-то подал голос и заткнулся.

Только Асень склонился будто в поклоне и, посмеиваясь, почерпнул с земли снегу.

– А птички гнёздышки свили, – сказал невпопад.

Желтоволоосый вожак оскалился и фыркнул, отчего стал поход на зверька, не слишком крупного, но загнанного и злого. Асень мял в руках снег, пока весь ком не растаял и не растёкся водой по локтям.

– Не к добру это, – забормотали старики, – когда снег летом...

Злата аж передёрнуло, он шагнул с левой ноги, поднял меч справа, держа его в обеих руках над собою. Но тут же заорали плоскогорцы, и Злат помедлил опускать палаш. А певец, умыв заснеженными руками бороду, выступил и прошёл между стрелков, легко задев кого-то.

Посадские и слобожане на радостях потекли следом. Злат бессильно развернулся на каблуках, взрыхляя снег, и стеганул палашом по снегу – только белые брызги полетели – да судорожно передёрнул губами. Все это видели. Только не поняли, давится ли он злым плачем или скверным образом ругается.

Одни пацаны ничего не поняли или вовсе не заметили. Всё дёргали да дёргали певца-гусяра за кафтан:

– Когда запоёшь-то, а? Будешь петь – или что?

– Спою-спою, – клялся Асень. – Что бы ни случилось, спою! – и то ли стонущий ураган, то ли смеющийся ветер раздались в его голосе.

В тот день пахло свежескошенной травой. Влажная, чуть-чуть кисловатая свежесть струилась в воздухе, и Зверёнышу отчего-то мерещилось, что так – травой и мокрым железом – пахнет свобода. Казалось, эта свобода вот-вот пропадёт, отнимется и надо успеть надышаться. Он вытянул шею, оглядел всё окрест и искал, нет ли опасности – Язычник отпустил его с десятком бойцов в дозорный отряд, чтобы предупредил в случае беды, а сам с полусотней дружинников следовал в полёте стрелы сзади.

Зверёныш непрерывно оглядывался: Вольга ехал в гуще охраны и почему-то без шлема, смурый и мрачный, а в самом хвосте, тянулся тот гонец, что притащил дурную новость. Зверёныша передёрнуло: ой, не ко времени собрался Язычник в полюдьё собирать мзду. Гонец на взмыленной лошади наехал на них сегодня утром, долго пил воду, мыча и тыча рукой по ходу пути, вниз по Смородине, потом выговорил свою весть. Оказывается, уже три дня, как Язычниковы ушкуи, промышлявшие в устье реки, захвачены буянскими опричными боевыми кораблями. Ушкуи сожжены, все молодцы перерублены. Вольга стал мрачнее тучи, но не повернул назад, а поехал дальше.

Зверёныш не выдержал. Бросил дозорных, развернул коня и припустил к Язычнику. Язычник хмуро поглядел, но разрешил ехать рядом. Чагравый – сумрачно-пепельный с карим переливом – жеребец Язычника ступал тяжело и весомо.

– Послушай, Вольга... – замаялся Зверёныш.

– Ну-ну, – Язычник скосил глаза. Последние месяцы только один Зверёныш мог запросто говорить с ним. Старые дружинники уже не близки ему.

– Повернём домой, – решился Зверёныш. – Все этого хотят. Ну его к лешему, твоё полюдьё. Не искушай Судьбу-Долюшку, мстительная она.

Язычник покивал и пробасил хмуро и недовольно:

– Обойду три погоста, куда добытое свозят. Зайду в мою сечевую ставку, что у речных порогов. Там прошлогоднее добро свезено. Людишек соберу, коли разбежались. Тогда домой.

– Вольга, – напомнил Зверёныш. – Гонец-то сказал, что опричники как знали, где твои ушки прячутся.

– Это калиновские старосты меня продали! – разгорелся Язычник. – Жив буду, ворочусь – никому не прощу! Пятки железом прижигать буду. – Чагравый жеребец всхрапнул, вздыбился, замотал гривой.

– Но ведь знают, знают буянцы, как ты в полюдьё пошел и какой дорогой едешь! Вернемся, а? Пока живы все.

Язычник удержал жеребца, смирил его, глянул опять искоса, вздохнул:

– Слышь, Зверёнок, – грустно-грустно позвал Вольга. – А без полюдьё чем я людей одаривать буду?

Бойцы Вольги-лучника двигались неторопливо, лентясь, точно служили вожаку не по любви, как прежде, а по обязанности.

– Эту твою ставку буянцы уже нашли и разорили, – предрёк Зверёныш, – и погосты расхитили, какие нашли...

– Или твой гонец буянских опричников на пятках притащил?! – взъярился Язычник.

– Нет, – Зверёныш на миг перепугался от такой выдумки. – Нет, он клялся, что было тихо. Клялся, что во весь дух мчал. Ночью мчал – не спал, и не было за ним погони.

– А Путьша-то где? – вдруг подъехал Ярец. – Где Путьша? – прошевелил толстыми губами.

Язычник рванул повод, вздыбил чагравого, остановил отряд. Кони под седоками заплясали, кружась на месте. Кто-то взялся за сабли: слева открылось поле, справа – незнакомый лес. Путьшин дозорный отряд вопреки правилам ушёл вперёд за косогор и не вернулся.

– Он не должен так делать, – забормотал Зверёныш, тревожась, – он не должен исчезать из виду.

– Всё! – прохрипел какой-то дружинник. – Попали.

Из леса двумя рукавами, без свиста и гиканья, со стуком железных доспехов, вырвались, огибая их сзади и спереди, опричные буянские сотни. Все кони по-строевому одноступенчатые, бурые, все воины в бронзовых панцирях, в шлемах с высокими гребнями.

– Засада! – бессмысленно завопил кто-то.

Буянцы окружили, охватили отряд. Люди Язычника сбились в кучу вокруг вожака. Везде сверкали буянские панцири, вились алые всадничьи плащи. Язычник страшно медленно тащил меч из ножен. Его дружинники как во сне падали, взмахивая руками, будто пробуя взлететь. Кони, неготовые к бою, ржали и не слушались. Их зачем-то стегали по ушам, а кто-то кричал:

– Вольгу заслоняй! Вольгу в середину!

Нелепая мысль пронеслась у Зверёныша: «Почему он это позволяет? Почему не кричит: „Отродясь за спинами не прятался!“?»

Зверёныш не умел драться. Забывать батожем лежачего – это одно, встретить бой с оружием – совсем иное. Его нечаянно, без злого умысла, вытеснили на край, прочь от Язычника и ближе к мечам буянцев. Зверёныш вытянул саблю и, повинувшись скорее рассудку, чем воинской сноровке, взмахнул ею в воздухе, когда увидел перед собой буянца – горбоносого, буробородого и с глазами карими и холодными как бронза. Зверёныш не знал, как нападают, когда враг безжалостен, на коне, с мечом и щитом. Кто-то ударил его – не этот буянец, другой, сзади, не в голову, а по плечу.

Боль пронзила кости, он выпустил саблю и потерял равновесие. Падая с лошади, он вниз головой разглядел, как мало людей вокруг Язычника и как его, оглушив, тащат с коня буянцы. Мир несколько раз перевернулся, меняя местами небо и землю, и взорвался.

Без сознания он пробыл недолго. Боль скоро вернулась. Шум и скверная брань ворвались в уши, кругом топотали и ржали разбежавшиеся кони, кто-то говорил, словно нудно читал по списку. Зверёныш хотел перевернуться – он валялся на земле со скрученными за спиной

руками, а перед лицом торчал чей-то грязный сапог. Он поднял голову, успел заметить коней и брошенных поперёк сёдел связанных Ярца и Путьшу. Путьша, кажется, был обрит – голая голова была мокра и вся в свежих ссадинах.

Буянец грязным сапогом перевернул Зверёныша – мир опять опрокинулся и закружился. Буянец оказался не воином, а опричным чинушей в хитоне, в плаще с капюшоном и с чернильницей за поясом.

– «Рост имеет высокий, глаз наглый, волос золотой, скалится, гордясь, руку к мечу тянет, когда бы меча при нём и не было», – читал он из хрустящего скрученного трубкой списка. – Ну что, верно этот?

– Этот, этот, – подтвердили. Сотник в золочёных доспехах прошёл в поле зрения. Чинуша что-то черкнул в списке и кивнул в сторону:

– Готовьте его, – и отошёл, перекручивая список и сличая других.

Кто-то живенько подбежал к Зверёнышу, звякнул вёдрами, и ковш ледяной воды выплеснулся ему на лицо, на лоб и темя. Зверёныш охнул и закрутил головой, моля:

– Не надо, не надо...

Перед лицом мелькали руки и сапоги, его жестко схватили за волосы, вздёрнули голову и заскребли тупой бритвой, крикая и откидывая вон клоки жёлтых волос.

– Не верги башкою-то, не верги, – посоветовали. – Ухо отхвачу – тебе же одна морока будет.

Дохнуло дымом. Рядом раздували походный кузнечный горн. Ноги и левый бок лизнуло волной жара. Выкрутив шею и выпучив глаза, Зверёныш увидел подле себя кузнецов и связанного, но живого Язычника. Вольга, зачем-то вывалив язык, следил, как готовятся заковать его в цепи. Кто-то жилистой рукой, глумясь, ухватил его за клочок волос на темени и за усы:

– Повязали гада! Так брить его, что ли?

– Да брей, чего уж тут, – отозвались безразлично. С полведра воды выплеснулось в лицо Язычнику.

– Погоди, постой! – одумался прежний безразличный. – Голова-то с чубом приметная, а ему, поди, плаха светит. Голову без чуба на колу не узнают. Не брей, не надо.

Зазвенел молот – гулко, с переливом. Язычник засипел сквозь зубы, слушая, как заковывают ноги. За ноги подтащили к горну и Зверёныша. Ножом срезали путы, стянули сапоги, задрали штанины. Холодное железо прильнуло к коже, кузнец клещами согнул его в хомут.

– Не жмёт, эй? – окликнули. Зверёныш не знал, что это было к нему. – Душой тебя спрашиваю: цепи-то надолго тебе... Эх, рогожки потом подоткни, кандальник. Натрёт... – бормотал сердечный тюремщик.

Зверёныш сжал зубы. Звонко ударил молот, расплющивая в проушине хомута заклёпку. Ударная волна пробежала по костям. Зверёныш завыл, но сам же и подавил вой. Стук и звяк повторились. Стальной стук бил в голову, словно огонь и лёд лили на бритое темя попеременно. Сталь звенела, и молот бил без конца. Свежей травой уже не пахло. Пахло дымом от горна. Ещё была сталь, только сталь, звон цепей да ещё стук без конца.

Стук повторился. Настойчивый, упрямый. Грач простонал во сне и повернулся. Хватило сил проснуться и сесть. Голову давило обручем, во рту горько и сухо. Вчера просидели с Бравлином, сегодня сказывались последствия. Грач покачал головой, но тут упорный стук повторился. Стучали в окно и возле окна.

«Кто-то прошёл на двор, пока я спал», – подумалось.

– Цветослав! Ну, ты дома – нет? Я знаю, ты здесь, – раздалось требовательно и капризно.

«Руна!» – вскинулся Грач. Из-за окна лился зрелый полуденный свет. Грач вскочил как ужаленный, запахивая лежанку и натягивая штаны.

– Сейчас всё брошу и уйду! – пообещала Руна твёрдо и обижено.

Он бросился к двери – небритый, взлохмаченный, но налетел боком на стол с кувшином и парой стаканов, спохватился. Заметался взглядом. Войдет же, увидит, что скажет! Схватил кувшин и, не найдя, куда сунуть, сунул под лавку. Выбежал в сени, распахнул дверь.

– Руна, я тут! – не переводя дух, выкрикнул.

Руна, не торопясь, появилась. Вышла из-за стены, от окна – спокойная, нарядная, в голубом ситцевом сарафане и цветной накидке.

– Привет, – смутился Грач. Руна оказалась такой красивой. Даже глаза подведены чем-то фиалковым.

– А я стучу-стучу, думала нет никого. Такое зло взяло, веришь ли! Нарочно же пришла...

Край её сарафана затрепетал и заструился на ветру, очерчивая ноги. «Нет, он не голубого цвета, – увидел Грач, – а бирюзового. Накидка синяя, в цветах...»

Он очнулся. Нарочно пришла? Сама – в кои-то веки.

– Да я тут. Где мне быть? – заторопился, не зная, что сказать.

– Спал что ли? – обрадовалась Руна и взялась подтрунивать: – Спал! Эх, соня... – ласково подтрунивала, не злобно. Грач немедленно простил ей.

Смеясь, Руна прошла в горницу. Грач уловил запах принесённых ароматов, похожий на запах цветущих вишен и яблонь. Запах кружил ему голову.

«А ей идет, когда веки подведены фиалковым. Вот, и глаза уже не серые, а впрозелень. Значит, больше не злится».

Руна наморщила носик, принялась. Грач испугано втянул воздух. В горнице пахло брагой.

– Вижу-вижу, – прищурилась Руна. – До обеда заспался, лыка не вяжешь, – поддразнивала она. – С Бравлином новую кузницу отмечали, признавайся?

– С ним, – повинулся Грач. – Только он просто зашёл, о жизни потолковать. Грустно ему...

– Да-а? – Руна посокрушалась. – Старую кузню жалко? Слушай! – она уже перебила саму себя. – К нам Асень пришел!

– Асень? – обрадовался Грач потому, что Руна от этого радостно. – Наверное, это здорово...

– С утра все встречают, с ума сходят, на головах стоят. Праздник же! Он же вечером петь будет. А знаешь где? У нас на Велесовом лугу. Представляешь себе? А ты знаешь чего... – Руна перебила красивую свою накидку, всю в цветах. – Ты приходи вечером на луг... Все соберутся, мама сказала, чтобы я тебя позвала.

– Правда? – ухватился Грач. – А сама, что ли, собиралась?

– Сама... – смутилась Руна. – Ну, собиралась... Как же я забуду!

– Если и ты там будешь, то я приду! – вскинулся Грач.

Руна даже опешила от его горячности. Опять запахло вишнями и яблонями. Опять принял Грач желаемое за сбывшееся, мечту – за уже осуществлённое.

– Приду, – поклялся он, – что бы ни случилось.

Руна только усмехнулась, подержала его за руку и ушла. Грач, проводив, вернулся от калитки окрылённый, с кружащейся головой, с мечтами и туманом в глазах и мыслях.

Чудесный день! Сегодня непременно осуществится самое несбыточное! Руночка пришла, позвала, пригласила его разделить её радость. А радость – это жизнь. Да, да, она пришла позвать разделить с ней жизнь! Ведь если Руна зовёт – то не судьба ли это? Не знак ли?

«Несомненно, это знамение, – говорил он себе. – Что-то сегодня произойдёт. Всё, о чём давно мечталось, теперь сбудется. Свершилось! Так я скажу сегодня вечером».

Что-то светлое, тёплое, чуть обжигающее прилиvalo к груди с каждым вздохом. Оно заставляло трепетать, волноваться, вздрагивать. Он склонил на бок голову, прислушался

к странным своим мыслям. Словно огонёк горел внутри, колыхая крылышками. Он приник к огоньку и услышал:

Дерзай, мой друг, дерзай! Тебе однажды мнилось,
Что волею небес она тебе дана.
Дерзай, мой друг, дерзай! И что бы ни случилось,
В твоей судьбе навек останется она.

Дерзай, мой друг, дерзай! Одну на целом свете
Ты потерять не сможешь нигде и никогда.
Дерзай, мой друг, дерзай! Ты пред собой в ответе:
Любовь – ничто, лишённая отваги и труда.

– Что за нелепица, – он оглянулся по сторонам. – Какие отвага и труд?

Горячие крылышки тут же сложились, и огонёк замолчал.

– А не плохо вышло, Руна бы так написать, – он забежал по дому, собирая бумагу с чернилами и рассчитывая спрятать письмо в шкатулке с подарком под подкладкой. А когда сел, то оказалось, что в спешке загасил огонёк, и слова куда-то исчезли.

«Руна, – кое-как вывел он на бумаге. – Я давно хотел сказать тебе. Это важно для нас обоих, для тебя и для меня. Я люблю тебя...»

Ну вот, главное, наконец, сказано. Записку отдать легче, чем выговорить то же самое, глядя в глаза. А столько трепетало в душе совсем недавно. Написать ли? Написать ли, что она самая лучшая, милая и прекрасная девушка из всех, кого он знал в своей жизни? Да нет. Разве этим скажешь, что жизнь без неё бессмысленна, что счастье только в ней и видится? Да где же тот огонёк, что теплился в душе несколько мгновений назад...

Свароженька, Огниюшко, любимый сын Солнышка, ты светишь-сияешь, звёздочкой мерцаешь. В очаге и на свечке, и в моём сердечке, – так говорила мама, когда зажигала огонь.

«Ты – смысл моей жизни, – с трудом приписал он. – Я люблю тебя, – повторился, – и хочу, чтобы ты это знала», – закончил он и... оставил письмо без подписи.

Он перечитал письмо, сложил восьмеро и спрятал в шкатулку под подкладку – так, чтобы торчал лишь уголок, краешек. Это для того, – утешил он свою трусость, – чтобы письмо не бросалось в глаза, но было бы найдено потом, не сразу. Не при всех.

Грач закрыл подарок. Кончено! Сегодня вечером это свершится.

Склонил на бок голову – и тут же ушедший было огонёк заговорил с новой силой:

Пройдёт немало лет – глубоким стариком
Ты будешь вспоминать её глаза; улыбку;
Её весёлый смех, журчащий ручейком;
А с ним – нелепого признания ошибку.

– Отчего же ошибку? – возмутился Грач.

Пусть тяжёк был удар. Пусть кровоточит рана.
Любовь – как острый нож в целителя руке.
...Любовь – как лунный свет: выходит из тумана;
Блеснёт; и пропадёт чешуйкой на реке.

– Вот ещё! – оборвал себя Грач и заколотил рукой по колену. – Сглазишь, сглазишь! Прекрати...

Вечером, когда тени стали расти быстрее, Грач побежал в Залесье. Драгоценную свою шкатулку он бережно прижал к груди, держа её как оберег, как талисман от чужих взглядов. Руну он хотел встретить заранее, еще до Велесова луга, где соберётся много народу, но дом Власты оказался уже заперт, и Грач заторопился.

Кажется, все плоскогорцы сошлись сюда. Кто-то расселся на захваченной из дому кошме, кто-то – на брёвнышках, а иные – прямо на снег под сугробами.

– Навий сын! – нарочно прошипел один старик с палкой.

«Не навий, а вилин», – Грач ухмыльнулся, стараясь не подавать виду. Он вытянул шею, высматривая Руну. Мелькнул, кажется, бирюзовый сарафан, Грач шагнул туда, но на пути мешались пять или шесть пацанят, раскрывших рты на чернявого изгоя. Можно было прогнать их («А ну, пацаны, дорогу!»), но рядом, подбоченясь, стояла их мамаша, тётка руки-в-боки. Тёткины пухлые губы ворочались и бормотали что-то совсем недовольное: «Глядите-ка – чёрный весь, волосами-то. Как упырь! Вылитый грач...»

Он предпочел обойти их семейку. Тоненькая фигурка в голубом, показавшаяся знакомой, пропала, Грач закрутил головой и увидел Руну в другой стороне.

– Позвольте, – он отстранил деда с палкой и уверенно пошёл к ней. – Привет, Руна! – окликнул шагов за десять. Та обернулась.

– Ой, привет! – она была вся такая праздничная, смеялась, её розовые губы играли, а тёмно-русые волосы слегка растрепались.

Снова запахло цветами вишен и яблонь. Грач вдохнул этот запах и протянул Руне шкатулку.

– Это с праздником, – выговорил.

– Спасибо! – она обрадовалась и изумилась, открывая шкатулку. – Ой, как красиво.

– Примерь, пожалуйста! – потребовал он нетерпеливо. – Хочу посмотреть, как это на тебе.

Она извлекла вещички и примерила, красуясь перед Грачом. Серёжки пришлись в пору, они качнулись возле шеи среди каштановых прядей. Браслетик лёг на тонкое запястье и сомкнулся, другая рука ласково погладила его... А вот колечко годилось только на мизинец и было чересчур узким. Грач смутился, мизинец – не безымянный... Впрочем, Руна, кажется, не обратила на то внимания.

Он выбрал им место на брёвнышках, провёл туда Руну, они сели. Он слева, она справа. Грач протянул за её спиной руку и обнял. Руна не вздрогнула, не воспротивилась. Как будто так надо. Она только мельком взглянула на него – с полувопросом или с полуулыбкой. Горячей рукой он почувствовал под тонким лазоревым ситцем её горячую спину, ощутил каждый позвонок, каждое ребро. Гордость и озноб подкатили к горлу. Они были у всех на виду, и Грачу, кажется, взбрело в голову, что с его изгойством покончено.

Шум и говор пробежал по рядам. На оставленную посреди луга площадку выходил Асень. Тесёмка на лбу перехватывала певцу волосы. Голубые глаза светились солнечным огнём. Не испытывая чужого терпения, он поднял гусли – и не звуки, а словно бы свет полился от них.

Вещие пальцы поплыли по струнам, и тотчас не стало ни шелеста листвы, ни щебета птиц. Всё затаилось. Всё в мире отдало себя струнам и вещим рукам. Пальцы певца словно излучали из себя чудную, сказочную музыку. Может, и не было теперь в мире ничего кроме звуков? Лишь солнце засветило ярче, сообщая мощь свою этим рукам на струнах, а те, чаруя мир, вливали в сердца и души чистоту небесной и вселенской гармонии. И не осталось здесь ни тебя прежнего, ни соседа твоего, ни всех собравшихся, а всё стало – иное, напитанное чем-то доселе неизведанным.

Асень пел! Те, кто не слышал, говорили, что устами его пело Солнце. Да полно! Асень пел о самом простом – о Роде Людском, о любви и добре, о счастье, нелживости и искренности чувств. А те, кто слушали, внимали так, как внимает солнцу подсолнечник, и пропускали через

сердца каждое слово. Асень смотрел в вышину, словно искал среди розовых облаков слова для своих песен. И каждый знал, что этот день не забудется и останется в душе навсегда, какие бы заботы не навалились. Пусть память и потускнеет, как невымытое стекло, но всё же не изгладится.

Асень умолк, прижав к струнам ладони. Он выжидал, глядя не вдаль, а на кого-то за спинами плоскогорцев. Стрелки подошли недавно. Они стояли позади коневодов ровной боевой шеренгой. Асень поднял к губам рожок и заиграл. Многие вздохнули, другие, не стыдясь, отёрли слезу. Кое-кто оглянулся, стрелков заметили. Златовид был не при мече и не в кольчуге, но в чёрной епанче, с луком за спиной и с плетью-арапником у пояса.

Кто-то заёрзал, другой заинтересовался. А Златовид сжал руки на поясе, где должен висеть меч, и устремился в гущу сидевших. Стрелки порушили боевой порядок и потянулись за вожаком. Асень продолжал играть, и Златовид вдруг замер посреди поляны, промеж сидевших на кошмах и брёвнышках. Асень играл. Отчего-то запахло дымом и прелью. Может, так пахли дорожные плащи стрелков...

– Играет, старается, – выговорил Злат. – Долюшка-Судьбинушка, как же он играет!

– Это от нелюдской крови, – Скурат пожевал бороду. – Навья, вилина, алконостья. Нечистая кровь в нём поёт.

Верига вскинулся что-то добавить – едкое, дерзкое, но глянул на Златовида и замолк.

– Заткнитесь вы все, – с болью выдавил Злат. – Я-то в третий раз его слышу. Он – чуден, – Злат с силой зажмурил глаза, встрепенулся и справился с собой. Засвистел, захлопал в ладоши – так на Смородине пастухи отару овец погоняют.

А древний Асень вдруг сделал что-то, чего никто не понял. Поднял зачем-то ком снега, слепил снежок и подбросил высоко-высоко. А пока тот летел и не упал ещё, принял на руки гусли и заиграл:

Весной подснежник расцветёт —
Как сердце от любви.
Расступятся и снег, и лёд —
Зови весну, зови!
Зови весну, зови!

С весною гости к нам спешат:
Тревога, жар, тоска,
Сомненье, стыд и робкий взгляд —
О как любовь сладка!
О как любовь сладка!

Радим с Купавой целый мир
Собрались известить,
Раз в их крови любовь горит —
Зачем её таить?
Зачем её таить?

– Жарко, – еле слышно сказала Руна. Чуть пошевелинулась и мягко, лишь кончиками сняла руку Грача со своей талии, отстранилась. – Жарко, – объяснила она не словами, а одним дыханием. У Грача зануло сердце. Он подумал, что знакомая песня не сулила ему ничего доброго.

Любовь во взглядах и в словах.
Уж назван свадьбы час.

Никто в те дни еще не знал —
Пир омрачит слеза.
Пир омрачит слеза.

На солнце панцири искрят,
И ждут богатыри,
Когда к сраженью протрубят,
Чтоб биться до зари.
Чтоб биться до зари.

Той распри позабыт исток.
Кто – ближний? Кто – чужой?
Остался в поле друг, браток —
Ну как найти покой?
Ну как найти покой?

– Покой? – чей-то голос неузнаваемо изменился.
Грач оглянулся и увидел Златовида.
– Да есть ли он теперь – покой-то? – Златовид глядел, но не на Асеня, а как будто внутрь себя. Одни только пальцы на поясе беспокойно шевелились. Точно защиты искали.

«Радим, она – чужая кровь».
«Купава, он – не наш...»
Ах, песнь стара и стих не нов,
Так было и до нас!
Так было и до нас!

Прикажешь разве не любить?
Ведь сердце не рекрут.
Им лучше с глаз людских уйти.
Да! Лучше в лес уйдут.
Да! Лучше в лес уйдут.

Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
Дрожи, изгой, дрожи!

– Сидел бы себе дома! – раздалось над ухом. То давешний старик с палкой подобрался сюда и грозил Грачу. – Изгой, изгой... – Грач сжался, закусил губу и попробовал снова обнять Руну. Та лёгкой тенью скользнув, отстранилась. «Ничего. Вечером она найдёт письмо, – подумалось, – и всё решится. Скорей бы...»

Купава плакала тайком,
Радим лишь хмурил бровь.
Кололи снег, рубили дом —
Согреет ли любовь?
Согреет ли любовь?

Но чудный дом в лесу стоит —
Там нет огня в печи.
А дом согрет теплом любви.
Светлы её лучи!
Светлы её лучи!

Я видывал тот дом в глаза —
Он радовал мой взор.
Олени, зайцы, волк, лиса
Заходят к ним на двор.
Заходят к ним на двор.

Русалки заглянут порой,
Иль старый лесовик,
Иль путник забредёт такой,
Что ходит напрямик.
Что ходит напрямик.

– А я предупреждал, – тихо вразумлял Злата Скурат. – Зря ты ему петь позволил. Он и русалок, и лесовика помянул, лешего, то есть. Чистую кровь нам беречь надо, а он про лесной дом поёт. Позволительно ли? Путник, что напрямик ходит – кто ещё такой? Так это он сам или его гонец. А к кому гонец, если не к старцу Нилу?

Желтоволоосый вожак молчал. Только кулаки на поясе сжимались и разжимались.

И чудо было среди льда —
Велик любви той жар! —
Бежит гремучая вода,
Где прежде снег лежал.
Где прежде снег лежал.

Весна пришла в морозный край!
Растаял вечный снег.
Там звонко-громкий птичий грай
Ошеломляет всех,
Ошеломляет всех,

А говорящие ручьи
Мне спели эту весть:
Мои Купава и Радим
Когда-то жили здесь.
Когда-то жили здесь.

Когда песня оборвалась, и звон гуслей затих, а шелест листвы снова стал различим, тогда многие вслед за Асенем ещё шевелили губами – договаривали последние слова.

Странно расходились люди: вроде и переглядывались, но ни о чем не спрашивали. Вечером расходились, уже затемно. Асень кинул за спину рожок, убрал гусли, улыбнулся в темноту и исчез. Куда – не видели, темно было. Заметили только, как уходили стрелки и как Златовид ёрзал, хоть и держался гордо, якобы ничего не случилось.

На входе в Залесье Грач догнал Руну.

– Это опять я! – он подскочил сзади.

– Чего людей-то пугаешь? Совсем уже, – она вздрогнула и в раздражении попеняла. – И так темно кругом.

– Ну, как тебе мой подарок? – Грач забыл стыд. – Понравился, довольна? – настаивал он.

– Красивый, – пришлось девчонке признать. – Я очень рада...

Грач тут же сник: «Эх, не нашла ещё! Жаль. Ну, значит, до завтра. Тем лучше», – пронесли спутанные мысли. Он вернулся на хутор и заставил себя лечь. Спать не хотелось. Хотелось забыться – провалиться в сонный колодец. Он не сумел. Катался по лежанке, внушая самому себе, что завтрашний день окажется счастливейшим. Ну, да! Ведь не может же он оказаться таким неудачником, чтобы проиграть всё, что имеет: мечту, счастье, надежду. Нет, этого не может быть. На завтра он предвкушал успех. Впервые не готовился, что скажет. Верил, что слова польются сами собой.

Когда утром очнулся, не мог понять, спал ли в ту ночь или нет. Солнце поднялось высоко. Он прикинул, что мог бы уже собираться, стал снаряжать Сиверко. А снарядив, бессмысленно водил его по двору, всё откладывая и откладывая свой выезд, томясь ожиданием, когда же солнце заберётся повыше леса.

– Ну, пошёл, Сиверко! – дождался, вконец истомившись.

В лесу на просеке в глухой тени до костей пробирал холод, волнами поднимавшийся с земли от снега. Грач зябко поёжился. Куда как теплее смотреть вверх – на солнечные макушки и суетящихся в ветвях птиц. Грач загадал: пусть первая птаха перелетит ему дорогу справа налево. Тогда Руна найдёт его письмо, прочитает и всё свершится...

– Ай! Ну, зачем, кто просил тебя лететь слева направо? Дрянь маленькая, хоть и с крыльшками...

Просека уже кончалась, ещё чуть-чуть и дорога вольётся в Залесье. Червячком заползла в сердце тревога... Эх, да что уж там! Сделанного не воротишь. Сам же хотел этого, теперь не откажешься.

Руна уже чем-то занималась возле изгороди. Снег, что ли, откапывала, чтобы вьюн рос быстрее? Грач попридержал конька: хотел неслышно подъехать, чтобы та не обернулась раньше времени – боялся стусеваться, встретившись глазами.

Руна услышала всадника и обернулась. Что-то нежное и лаковое показалось Грачу во взгляде.

– Цветик, привет! – она улыбнулась. Она поправила волосы, сколотые заколкой в форме черепашки.

– Привет...

– Смотри-ка, вьюночек помёрз, нижние листики скукожились, – Руна по утренней прохладе была в тёплой медвяно-жёлтой кофте, расшитой листьями и травами. Ей было к лицу – она юна, красива.

– Да, вьюнок помёрз, – сказал Грач. – «Не нашла еще. Как жаль. Поторопить?» – Рун, – позвал он. – Ты подарок мой часто берёшь?

– Подарок? – смутилась Руна. Его настойчивость выглядела невежливой. – Беру, конечно.

– А ты почаще бери, – попросил он. – Ладно? Я... я для тебя старался. Может... может найдешь что-то, я надеюсь, приятное.

– Да? – переспросила Руна.

Грач приободрился, осанисто вытянулся, сидя в седле. Вот, жаль, подумалось, что письмо написано. Вот сейчас он так в себе уверен, что мог бы и сам объясниться. Но... раз письмо написано, то пусть всё идёт, как затеяно.

– Повнимательней посмотри, договорились? – посоветовал он. Руна взглянула на него так, как будто он не здоров.

Грач сделал круг по Залесью. «Я знаю Руну, она сейчас бросится искать, что же там любопытного. А когда найдёт, то растеряется. Выйдет ко мне не сразу. Смутится и будет говорить сбивчиво. Вот тут-то я подхватываю, и говорю, говорю, не переставая...»

После первого же круга Руна встретила его с запиской в руках. Листок был расправлен и весь в частую складку. Руна вышла в проулок, а калитку за собой закрыла – Грач это заметил.

– Ну, я нашла! – заявила она со смехом и встряхнула запиской. В её волосах была всё та же заколка, на плечах – та же кофта, вот только цвет её показался Грачу не таким уж и сладким.

Грач соскочил с коня.

– Я очень рад... – дыхание перехватило, он глубже вдохнул: – Поверь, мне есть, что добавить, посмотри на небо и на облака! Их я могу позвать в свидетели того, что ты на самом деле многое для меня значишь...

Руна замотала головой так, что даже волосы, тёмно-каштановые её волосы растрепались:

– К сожалению, я должна, – она настойчиво перебила его, – я просто обязана огорчить тебя и сказать «нет». Понимаешь, Цветослав? Нет! Не сейчас и никогда, – она поёжилась, кутаясь в медовую свою кофту.

...Как это красиво! – любовался Грач. Зелёные травы и листья по медвяному полю... Как хотелось, чтобы мечта стала правдой...

– Я знаю, Руна, я этого ожидал, – Грач собрался с духом. Наверное, он мог бы ещё долго нести про облака и небо. – Вот только, Руна, всё, что я к тебе чувствую, от этого не переменился...

Руна с укором замотала головой и второй раз перебила:

– Цветослав, я же тебе объяснила! – она неодобрительно всплеснула руками. – Мне было бы, конечно, приятно, если бы за мной ухаживал такой парень. Но у меня уже есть, – сообщила она радостно и не без самодовольства, – есть любимый! Это же Златовид. Разве не знаешь?

Вдоль оград зеленела, но еще не цвела сирень. Первая пчела облетела заколку-черепашку и медвяную кофту и с налету бухнулась в снег. Грач поддел её носком сапога.

– Я, собственно, догадывался, что это так, – он сам удивился, до чего же охрип его голос.

– Вот видишь! – ухватилась Руна. – А у нас с ним всё так серьёзно, мы гуляем, он меня любит и... и вообще!

Ну вот. Что тут спорить. Пора уезжать. Грач тронул за повод Сиверко. Неумолимый язык требовал чего-то, что подвело бы итоги. Нет бы расстаться попросту – ну, всё, мол, пока...

– Говорят, за рекой Смородиной живут рыцари, безнадежно влюблённые даже в жён своих королей...

– А я так не могу! – взорвалась ни с того ни с сего Руна. Грач остановился. Он видел, как глаза её, до поры серые, подёрнулись желтизной с прозеленью – той самой, что так особенно томила и влекла Грача. – Тайком от всех, от людей, от матери – нельзя любить тайком. Это противоестественно, пошло и нездорово.

– Почему тайком-то? – Грач поразился.

– Да потому что! – отрезала Руна. Овладела собой и, подняв руки, стала поправлять волосы. – В такой ситуации, – заколка-черепашка была зажата в её губах, – тебе лучше пересмотреть своё ко мне отношение!

Грач нахмурился: разговор повернулся какой-то крайне неприятной стороной.

– На твоём месте – отчитывала Руна, – ну, окажись я в твоём положении, я бы непременно посоветовалась с кем-либо об этих... твоих... чувствах. Ты с Бравлином дружишь! Вот с ним и посоветуйся. Понятно?

Тон Руночки раздражал. Слышалась в нём напускная многоопытность.

– Спасибо за совет, – обронил Грач.

– А какого ещё совета ты ждал! – ахнула Рунка. – Ты думал, я закричу: «Ах, Цветик, как это хорошо, я так рада!» Скажу тебе, что в этом отношении было бы лучше, если бы ты ко мне не писал. Твоё письмо меня огорчило! Что скажут люди, ты подумал? Хочешь, чтобы про нас говорили? Мол, ещё в детстве жили, рядышком ночевали – видать было кое-что, то самое, раз поженились!

«Рунка, Рунка, – поморщился Грач. – Куда же тебя понесло? Что же – я и полюбить тебя не вправе? Разве многого прошу? Я же уступаю с каждым словом. Уже ни согласия, ни взаимности не жду. Но самое право-то любить оставь мне. Не марай, не топчи его».

Ничего этого не сказал Грач вслух. Не к месту это было, напрасно. А отстоять чистоту чувств попытался:

– Подожди, Руна, ну, подожди! А как же все песни, сказки? Купава и Радим – они же с детства друг друга любили...

– Ой, ладно тебе, придумал ещё! – Руна отмахнулась. Наверное, она казалась себе весьма убедительной. – Когда всё это было-то.

За окном её дома звякнуло. На подоконник вскочила подаренная собачонка и мелко затыкала. Руна досадливо поморщилась, иду, мол, иду. Не хватало ещё, чтобы к окну подошла Власта. Выйдёт поздороваться – придётся, не встречаясь глазами, объяснять и состоявшийся разговор, и теперешнее своё настроение...

– Ладно, Рун, – он успокоил топтавшегося Сиверко, расправил стремя и, готовясь подняться в седло, опять всё испортил: – Одно скажу: после этого разговора всё останется как было, и я...

– Ну, уж и нет! Как было, всё остаться не может, – в запальчивости, будто отстаивая что-то главное, заявила Руна. – Цвет, я, конечно, понимаю, что в твоём положении – после суда над тобой – у тебя не было девушек, вот ты и решил...

– Да, ты права, молодец, – он вскочил в седло.

– Ну вот – обиделся! – успела сказать Руна.

– Нет-нет, что ты. Всё в порядке, – бесцветно обронил Грач, вместо плети рукой подстёгивая Сиверко.

Всё быстрее и быстрее. Уже ветер свистел в ушах, а Грач всё поддавал жеребчику сапогами. Улицы и дома мелькали по сторонам. Тётка с ведром шарахнулась и заостерила его вслед. Стайка девчат и пареньков россыпью полетела с перекрёстка. Схватиться бы, сцепиться бы сейчас с кем ни то хоть на кулаках, хоть на арапниках. Но только чтобы до крови, чтобы до звона в ушах, чтобы зубы вон. Так бешено и остервенело дрались тогда – в те самые годы, до суда, как сказала бы Руночка. Без правил дрались, без пощады, проигравшему – смерть и позор. Не с ясной головой дрались, с одурманенной...

Грач углядел, что в раже делает второй круг по Залесью. Вот-вот и откроется всё та же улица и дом Руны. С яростью рванув повод, Грач сбил жеребчика с ноги, тот закрутил головой и на бегу вскочил за чьи-то ворота, на чей-то двор.

«Надраться бы сейчас, чтобы искры из глаз и дым из ушей», – пожелал Грач.

Из дома, у которого встал Сиверко, тянуло знакомым горьким, но терпко-сладким запахом. Здесь жила тётка Щерёмиха, известная тем, что тайком варила маковый дурман, от которого тянуло в блажной хохот. Грач въехал в калитку, едва ли не на огород – благо широко, лишь сапогом царапнул по стойке. Чёрная остроносая баба медленно подняла голову.

– Щерёмиха, что у тебя есть? – гаркнул он. – Чем травишь – беленой, взваром мухомора?

Щерёмиха медленно подошла. Щурясь на солнце, взялась за его стремя и заглянула в лицо из-под чёрного платка.

– Э-э, парень, – укорила, – да у тебя голова не на месте.

– Тебе-то что, Щерёмиха? – хорохорился он.

Та фыркнула и вытащила откуда-то из-под плахты, из-под бабьего шугая флягу.

– На-ка хлебни, – посоветовала. – Отрезвляет.

Грач хлебнул, сколько мог. Резко обожгло горло, в голове зашумело, он подавился, закашлялся. Щерёмиха отобрала флягу.

– Хватит с тебя! Заешь, – сунула ему холодную пареную репу. – Давай, Грач, давай! – сама развернула коня к воротам и хлопнула по седлу. – Рано тебе сюда, не дожил. Езжай отсюда. Езжай, езжай! – выпроводила. Потом крикнула вслед: – И голову береги! Очумелый...

Что это – снова чей-то сон или чья-то явь? Чужие воспоминания или морок дурмана?

Как действовал дурманый мох, если его соскоблить со стен и выкурить, Зверёныш видел перед собой. Человек скрючился на земле и бормотал. Иногда он вскидывал голову, и факел освещал лицо, тогда было видно, что глаза у него налиты кровью. Каждая жилочка, каждый сосудик в глазах и на веках набухли и увеличились. Человек мотал головой, а губы у него были сухие и в трещинах. Зверёнышу он был противен и мерзок.

Отсвет факела прыгал по корявым сводам – точно рудник шевелился. Каторжники, свалившись, где придется, кряхтели и стонали. В забое тишины не было. Те, кто спал, маялись во сне, стиснув зубы. Тускло посверкивали сваленные у отвалов породы кирки и тачки.

Человек хохотнул. Он вечно смеялся, но это не смех, а судорога. Судорога корчила лицо в бессмысленную улыбку, а из горла исторгала беспричинный хохот. От него пахло горелым мхом. Мох рос повсюду – на стенах, на потолке, на полу рудника, везде, где сыро. Тот человек скоблил мох и либо курил, либо варил в кружке над факелом крутой отвар, завернув мох в кусок портянки.

Зверёныш и сам попробовал мох. От одного глотка отвара сделалось душно, томительно, жутко и страшно. Померещилось, что тело ему не подчиняется, а живёт своей жизнью. Лица каторжников слились вдруг в одно, и лицо усмехнулось: «Что? Голова от рук отстала?» – «Не-е», – солгал Зверёныш и больше ко мху не притрагивался.

– Травишься? – Зверёныш пхнул ногой человека с красными глазами. Тот только отодвинулся и вытянул ноги в цепях.

– Мне мо-ожно, – он растягивал слова. – Я за Сте-епью воевал, – он шарил вокруг себя руками, будто слова выбирал на ощупь: – А за Сте-епью можно, там все-е курят.

– За что заковали-то? – не отставал Зверёныш. Хотелось сцепиться с ним просто так, от раздражения. – Все без цепей, а его, видишь ли, заковали.

– Буйный был... Я же ра-атник. Нам мо-ожно.

Зверёныш плюнул и отполз спать на другое место. С шипением падали с факела и дымились горящие капли масла. Копоть оседала на камни...

Кто-то завыл, закричал – не дал заснуть. Кричал каторжник – худой, сухой, желтолицый:

– Заре-е-ежусь.

Давешний кандальник зажмурил красные свои глаза и протянул:

– У-у, как он воет, цветно́ воет – желто́... Во, а теперь по-синему воет, с зеленцой, – выкуренный мох рождал у него видения. – Говорил: не кури плесень, ломота придёт, крутить станет... Он теперь ломоту видит... У-у, как видит: землю тронуть больно,... рукой повернуть больно...

Под его бормотание всё угомонилось. Факел чадил и угасал. В резко уходящей вверх штольне свет его терялся. Зверёныш с тоской поглядел туда, во тьму, и зажмурился. Неба – в этот час ночного и, может быть, лунного – не видно. Под штольнею, где валялись кирки и тачки, лежали коробка с горной породой. С вечера их должны были поднять на верёвках, сплетённых в жёсткие косы, но в этот раз оставили. Наверное, наверху поленились... А в коробах дневная выработка, а выработка определяет пайку... а пайку хлеба спускают раз в сутки...

Вскочил Зверёныш от оглушившей его тишины. Обкурившийся кандальник спал, и тот желтолицый с сухой, струпной кожей затих и не выл. У коробов с породой сгорбились трое.

Косой свет факела прыгал по их затылкам и заросшим лицам. Те трое воровали дневную выработку в свои короба. Короб Зверёныша был почти пуст.

– Уроды! – взвился Зверёныш. – Гады! Выродки!

Треснувший голос разлетелся по забою, перебудил каторжных. Те трое шарахнулись, матерясь и опрокидывая короба. Выработка руды рассыпалась. Зверёныш пружиной вскочил на ноги, рука нерассудочно подобрала кайло. Он кинулся вперёд к будущей пайке хлеба и к вора, укравшим её, ещё неполученную.

Забойщики окружили их, загоготали, дразня и распаяя. Лохматый каторжанин оскалится на Зверёныша и, не опуская глаз, нагнулся, поднял с земли кирку. Кайло оттягивало Зверёнышу руку, он перехватил его, держа перед собою как меч. Все улюлюкали, предвкушая забаву.

– Струсь! – хрипло посоветовал каторжанин с киркой.

Зверёныш кинулся в бой. Кирки звякнули, сцепились. Кайло рванули у него из рук. Зверёныш удержал, но боль волною пронизала все кости. Он отцепился, ударил кайлом и снова промахнулся. Кирка чуть не впилась ему в плечо, он увернулся. Под ноги попал камень от рассыпанной руды. Кто-то другой ударил киркой в его кайло, он выронил и кинулся в рукопашную.

Те трое бросились на него разом. Он рвался к горлу противника, грыз вонючую бороду. Какое-то время держался на ногах, но когда с трёх сторон стали колотить в рёбра и по почкам, он упал, увлекая с собой каторжника. Чёрствые как деревянные руки ухватили Зверёныша за горло. Он бился ногами, но воздух вдруг начал чернеть. «Наверное, факел гаснет», – подумалось.

Чья-то рука сорвала с него душегубца. Горячий воздух судорогой вернулся в грудь. Та же рука ухватила его за голову, за грязные, едва отросшие волосы и отшвырнула прочь. Над собой он разглядел кого-то лысого, с клоком волос на темени и с бычьей шеей. С грохотом и звоном Вольга стегал каторжных кандалной цепью.

– Вольга? – просипел, щупая горло, Зверёныш.

Каторжник налетел на Вольгу, грозя огромным куском руды. Факел, угасая, вспыхнул, осветил сжатые губы и вислые усы Язычника. С потягом и перезвоном, точно саблей рубил, взмахнул Вольга цепью, опуская её на руку каторжника. Что-то хрустнуло, камень из неё выпал, и каторжник, подвывая и нянькая руку, уполз за спины других.

Вольга проследил за ним, выжидая. Тот с этого дня не работник, а перебитая рука будет стоять ему жизни.

– Я – Язычник! – крикнул всем Вольга. В одной руке он держал цепь, в другой – сверкающую, стальную, остро заточенную бритву. – Я здесь – хозяин! Всех вразумлять, что ли?!

Шум повитал над головами, обмяк и угас. Чумазые, рваные, измождённые забойщики притихли, сникли, увяли. В забое появилась власть. Язычник оглядел всех и каждого и остановил глаза на желтолицем, что неестественно молча лежал всё на том же месте. Язычник выбросил цепь, подошел и поднял у желтолицего руку. Даже в полутьме видны были синие пятна у того на лице, вокруг носа и рта. Рука стукнулась оземь. Кто-то среди ночи принёс желтолицему желанную плесень, и он принял её чересчур много...

После, когда Зверёныш смог внятно говорить, а Язычник занял лучшее – под горловиной штольни – место, Зверёныш подошёл и встал рядом – в трёх шагах, молча глядя поверх головы Вольги и потирая рукой горло. Он шумно дышал и скалил по привычке зубы, пока Язычник не поднял глаза и не бросил раздражённо:

– Что?!

– Откуда ты? – прохрипел Зверёныш. – Тебя плаха ждала...

– Жалеешь?! – оборвал ушкуйник.

– Н-не... – Зверёныш слотнул, давясь от боли в горле, – н-ненавижу, – выдавил о чём-то своём. – Ты... ты спас меня!

Язычник оглядел его искоса и чуть брезгливо:

– Плаху заменили, – объяснил наконец. – Черепов на кольях у них своих много. Опричина... А руды мало. Руду они больше ценят.

Сверху, из горловины штольни, засвистела утренняя дудка – приказ пробуждаться, брать кирки и долбить камень. Со скрипом потянулись наверх короба с вчерашней выработкой. Пайки хлеба спустят лишь в полдень. Кряхтя и жалуясь, каторжники потянулись вглубь забоя.

– Я из другого забоя, – бросил на ходу Язычник. Зверёныш остановился. – Там штрек пробрили и забой соединились. Там эти твои, как их... Ярец с Путьшей. – Зверёныш напрягся. Язычник ещё раз походя бросил: – Я чертёж раздобыл. Как другие забой связать штреками. Это до поры, до времени.

Кайлом Язычник бил наотмашь. Порода в стене трескалась и обрушивалась кусками и крошевом. Зверёныш сгребал всё в одноколёсную тачку и, согнувшись, пробежкой укатывал поближе к штольне. Глиняная и каменная пыль висела в воздухе, её вдыхали, она садилась на чёрные лица, плечи, бороды. Всюду стояли жалобы, стук, звон и грохот отколотой или сгружаемой руды. Язычник – полуголый, чёрный – работал зло, страшно, точно не стену крушил, а того, кого сам себе воображал. Зверёныш, проклиная неведомо кого, катал тачку, отваливал породу и грозился кулаком кому-то наверху, в горловине штольни...

Когда пришла ночь и дудка неохотно приказала каторге спать, у Зверёныша подогнулись ноги, и он ничком упал поперёк тачки прямо на середине пути. Никто не подошёл. Каторжники волочили кирки мимо, не оборачиваясь. В тот день умерло ещё двое – молодой да старый. В каторге мрут часто, как по расписанию, слабаки – ещё новичками, а дюжие, те на третий-пятый год – от истощения, темноты и мха-дурмана.

Зверёныш подтянулся, пополз, потом побрёл и побежал к штольне, к чадающему факелу. Не дойдя десятка шагов, упал и так на четвереньках добежал до Язычника. Язычник брился... Это выглядело дико и странно среди заросших и завшивевших каторжан. Вольга расходовал ледяную воду, сочившуюся из стен, смачивал голову и щёки и скоблил их сверкающей бритвой. Сидел он у стены, под факелом, и в пяти шагах от него, как возле признанного вожака, никого не было.

Зверёныш подполз к Вольге, усмехнулся дурной ухмылкой и выговорил, презрительно растягивая слова:

– Ты спа-ас меня, спа-ас... Н-ненавижу.

Язычник стряхнул с бритвы ошмётки и поскоблил ею о кожаный ремень. Зверёныш оскалится и потянулся с четверенек к его уху, но не достал и зашептал в плечо:

– Знаешь, что я сделаю, когда выберусь отсюда?

– Знаю. Кинешься с киркой на охранника, и он тебя зарежет, – Язычник был циничен и злобно спокоен.

– Не-е-ет! – лающе засмеялся Зверёныш. – Э, не-ет! Я снова пойду к кудеснику Нилу и душу из него вытрясу, но Камень Власти добуду. Слышишь? Вот как небо светло, как Судьба наша проклята, так вот тебе клянусь: Царь-Камень... у Нила... вытрясу...

Язычник отложил бритву, повернулся к скалящемуся Зверёнышу, наклонился и задышал ему в лицо:

– Откуда ты, Зверёныш, а? Что ты – плоскогорец, я раскусил. А кто ты? Злой, живучий... Правда, что ли, у кудесника был?

– Был, клянусь тебе...

– И что Царь-Камень на свете есть – то же, что ли, правда?

– Суцая! Живой он! Власть даёт! – заторопился Зверёныш. – А теперь спит, и если проснётся – беда будет, а владельцу так нет, наоборот, даст надо всеми власть и все дела за него свершит.

– Сам, что ли, видел? – резко спросил Вольга. – Царь-Камень-то?

– Прячет он его, – выплюнул Зверёныш. – Был я у него с моими молодцами. Слова от него не добился. Ничё-о, вырвусь отсюда – душу из него вытрясу. Что? Не веришь? Брешу я?

– Ты это, – Язычник показал бритву, бритва сверкнула в свете факела, – про Камень да про Нила молчи до поры. Я же – Язычник, а что я болтунам делаю? – бритва поблёскивала в его руке.

– Так и я не тюфяк! – он огрызнулся. – Я сам – Зверёныш! Ясно тебе?

Парень был зол. Он скалил зубы и хрипел горлом. На грязных жёлтых волосах сидела пыль, а глина и грязь кривыми полосами размазались по лицу.

– Не, ты не Зверёныш, – вдруг оценил Вольга. – Прямо зверь взбесившийся. Любопытно мне, откуда ты такой взялся. Мамка-то тебя как нарекла?

– Златка я, Златка – запомни, – не остыл ещё Зверёныш. – Хоть мамки не помню, и батьки тоже. Бабка меня кормила. Ясно тебе? Запомнил, ушкуйник?

Бритва чиркнула перед носом Зверёныша, холодный свет от неё полыхнул в глаза. Вольга едва не отсёк ему пол-лица.

– Не кусайся! – приказал Язычник. – Ценю это, не спорю. Но не терплю.

Спокойно и старательно продолжил бритьё Язычник. Он скрёб голову, тщательно обривая оставленный длинный клочок на темени, клочок светлых жёстких волос, висящих на сторону, до мочки левого уха, брил щеки, подбородок, горло, оставляя длинные, висячие усы на землестом, с оспинами, лице. В левом ухе поблескивала не вырванная палачами серьга-кольцо.

«Остынь», – велит сейчас кто-то. Может, это Язычник – Зверёнышу, а может, кто-то другой и не здесь. Чужой сон забывается, чужая явь перестаёт грезиться. «Остынь и голову береги! Очумелый...»

Глава VI

Может, и стоял когда-то Щерёмихин сбитень рядом с дурманом, но стоял недолго. Ни горячего тумана в голове, ни жара в груди не было и в помине. Грач подосадовал: и тут его обманули. Только горечь во рту! Да на беду не остыло желание сцепиться с первым же встречным.

Вот, замаячило через две улицы прежнее Изясово подворье – теперешняя Златовидова ставка, и как на грех вспомнились Руночкины слова: «Ах, у нас с ним всё так серьёзно...» Грач с досады подстегнул Сиверко: «Вот и спросим сейчас у него, как серьёзно!»

Грач у дощатых ворот спешился, хотел заколотить в створку кулаками, да помедлил. А как замешкался, то вот и заметил, что через улицу глядит на него, на изгоя Грача, тройка парней – уличных балбесов. Запал сам собою прошёл.

– Тебе бы лучше уйти... – долетели чьи-то слова.

Оказалось, что у ворот приоткрыта калитка, а из-за неё доносится голос Асень. Асень не пел. Асень тихо говорил, а голос у него был сухим и усталым:

– Тебе лучше просто уйти с Плоскогорья, – он повторил. – Старый Нил просит тебя о том, умоляет. Ну, не нужен ты здесь! Людей пожалей...

– Люде-ей! – тянул в ответ Златовидов голос, властный и самоуверенный. – Знаешь, а ведь я ждал, что от Нила кто-нибудь придёт, – Златовид нехорошо засмеялся, – хотя бы для переговоров.

– Ты с мечом, а я с гусями – разве это переговоры? – Асень тяжело вздохнул и заговорил тихо-тихо, так что слышались только обрывки слов, и вдруг донеслось отчётливо: – Признайся, Зверёныш, это ты рассказал Вольху про Царь-Камень!

– Грозишь? – взвился Златовид. – Грози-грози! А я здесь – власть. Что захочу, то с тобой и сделаю! – за стеной прошуршали ножны, звякнула сталь. – Я – Златовид Плоскогорский. Ты не забыл?

– Ты сам себя поставил, и здесь не наместничество твоего Вольха.

– Вольх меня простит!

– Так ли? Вы с ним прощать не умеете...

– Убирайся пока жив, гусяришко! – визгливый крик Златовида пронёсся по улице.

Калитка перед лицом Грача распахнулась, ударилась о забор и отскочила назад.

Теснимый Златовидом певец порывисто вышел. На ходу он глянул в глаза оказавшемуся на пути Грачу. Грач так и отскочил на пару шагов, точно обжётся. Глядел певец так, будто пронзал и прочитывал душу насквозь, до самой глубины, как одному ему ведомую книгу. Этот-то пронизывающий взгляд и обжигал, ощущался всей кожей, всеми проступившими вдруг мурашками. Высмотрев до доньшка, Асень отвернулся, точно отыскал что-то презренное, и, брезгуя, прошёл мимо Грача.

Верига в этот самый миг выскочил и ткнул Асенья кулаком в спину – под котомку с рожком и гусями. Певец не покачнулся и не оглянулся. Так не оглядываются на дерево, роняющее на спину сухой лист.

Вышел и Златовид. Грач прежде его таким не видел: Злат дрожал мелкой дрожью, а белые пятна оспинами покрывали ему щёки. Никого не узнавая, он глянул по сторонам и, словно чуя опасность, потянул из ножен палаш. Потом моргнул, приходя в себя, и наконец-то признал Грача.

– Ну-ка... зайди, ты мне нужен... – пригласил он. Злат глядел на Грача, перескакивая со зрачка на зрачок.

Только закрывшись от людей дверями и забором, Злат успокоился. Рукою махнул, гоня прочь Веригу и Добеслава.

– Послушай-ка, Цвет... – Злат вдруг поперхнулся и очень долго кашлял, сгибаясь и сплёвывая. Грач ждал и смотрел на него. Волосы на голове Злата уже не были золотыми, а как в первый день соловыми – желтоватыми с белёсыми прядями. – Пора нам поговорить откровенно, – прокашлялся Злат и непроизвольно дёрнул плечами.

Грач оскалился:

– Какое совпадение. Сегодня я уже откровенничал. Это плохо кончилось. Не посочувствуешь?

Злат, не находя себе места, спиной привалился к забору. Бившая его дрожь унялась. Он прикрыл глаза:

– Помнишь, Цветик, как я уезжал отсюда? Юнцом совсем... Лет семнадцать... Да? – Злат говорил медленно, с перерывами. – Приехал я к старику Нилу... Спросил: где счастье, что оно такое? А он долго что-то говорил, я не запомнил... Чудной старик. Может, и не сумасшедший, может, только притворяется. Сказал, дескать, что счастье – это то, что на исходе жизни подаст душе мир, покой и наслаждение...

Злат открыл глаза и провёл повлажневшей от пота ладонью по волосам. Соловые волосы блеснули колким золотом.

– Ездил я после по свету и искал, в чём оно – наслаждение, в чём мир и покой? Ты, вот, даже не знаешь, – выдохнул Златовид. – А я понял! Это власть, слава и женщины. И помочись в глаза тому, кто назовёт что-то другое! Деньги, сила, победа? Так не цель это, а средства. Цель же всюду одна – слава и власть. Женщины, говоря по правде, лишь приложение к ним.

Злат перестал дрожать, белые пятна с его лица исчезли. Грач наоборот стал хмуриться и сжимать губы.

– Цветушка, ты видел Асенья? Несчастный он человек, мне жаль его. Велик, почитаем, любим и славен – но начисто лишён власти. А видывал я и «серых королей», советников при властителях. Богатство и власть при них, чужие судьбы вершат, а весь почёт и вся слава – другому. Отсюда все беды для здоровья! Только ущербный довольствуется чем-то одним – властью или славой... Цветик! Мы всё ещё говорим откровенно?

– Тебе виднее, – буркнул Грач.

– Ты не морщись мне тут, мол, якобы обижен на меня! Друг ты мне какой-никакой. Все тебя за моего ближнего держат, а ты живёшь леший знает где, на выселках, в лесу на перекрёстке, как яга старая. Некрасиво это. Опять же, сельчане тебя за изгоя держат. Не хорошо. Уезжал бы ты отсюда!

– Как? – не понял Грач. – В смысле – куда это я поеду?

– Да ты поднимись в дом! Дело у меня к тебе.

Злат поднялся на крыльцо. Грач помедлил, но пошёл следом. Подержался за резные балясины, но в самый Изясов дом не вошёл, остался на пороге. В приоткрытую дверь виднелись зеркала на стенах, стеклянная посуда на полках – остатки чужой отобранной жизни.

– Ты вор, Златка, – выдавил из себя Грач. – Убийца и душегуб, – он резко прочистил горло, – и дело иметь с твоей шайкой я не желаю.

Видеть, как менялось у Златовида лицо, Грач не мог: слова были сказаны в спину. Видел он только, как эта спина выпрямилась, а шея закаменела.

– Как ты сказал? – он процедил, поворачиваясь. – Я – душегуб? – Лицо у него почернело. – А вот – да, я – вор, я – злодей. А кто ты такой, чтоб совестить меня? – Златовид рубанул рукой воздух. – Я как убивал, так и буду убивать сволочь, что нечиста хоть самую малость. Потому что своими глазами я видел, как нечисть казнила пацанов. наших пацанов, Цветушка! – Злат задохнулся, и Грачу подумалось, что он опять забьётся кашлем.

У Златика губы сузились в ниточки и побелели. А руки затряслись. Он пробовал сжать кулаки, а пальцы левой руки не подчинились и заплелись узлом.

– Златка, – позвал Грач. – Остынь, Златка, – попросил.

– Я их казнил и казнить буду, – пообещал Злат. Только лицо перекошилось – или это свет из окна так падал. – По сто за убитого. По полсотни за изувеченного. За наших, за Ярца, за Путьшу-Кривоноса. Путьшу-то помнишь, Цвет? Он первый тебя Грачом-то прозвал...

Грач, наверное, тоже потемнел лицом. Путьшу-Кривоноса он помнил. Злой был мальчик. Говорят, удивлялся, что это Ладис так быстро помер. Как же они его били? Сапогами в лицо или в живот шпорами?

Злат долго молчал. Ссутулился. Даже стал на голову ниже. Злат справился с собой. Тяжело вздохнул:

– Помоги мне, Цветушка, – Злат опустил на резной табурет. – Пожалуйста. Мне помощь нужна, – Злат замахал рукой, не дав Грачу перебить. – Дослушай меня, дослушай! Именно мне, мне помощь нужна. Не стрелкам, не нашей войне, а мне, Цветослав, как другу. Попросить больше некого! Слышь? Вольх убьёт меня. Убьёт, если хоть мысль допустит, что я дезертир. Знаешь такое ратное слово?

– Знаю, – буркнул Грач. – У самого отец ратник.

– На меня Верига волком глядит. А Скурат себе на уме. Да ещё Добеслав – малолеток. Положиться-то не на кого! Выручай, Цветик. Вот, донесут Вольху, что я скрылся от него, живу себе в глухомани, службу оставил – ведь так всё дело извратят, скажут: Вольхова жоака не сберег, Гвездояра в бою его кинул. А это не так, Цвет, не так! Продали нас. Да и Гвездояра уже к берёзам вязали, когда я уходил! А поди докажешь это у Вольха-то на дыбе? Отвези письмо, Цвет, скажи к Вольху, а то и неровён час – меня в покойники запишут.

– Где письмо-то? – Грач поднялся. – Давай! – оставаться в Изясовом доме ему неудобно, как при умершем. Начищенный пол, посуда, зеркала – всё блестело. Не по себе, уйти бы, уехать. – Скорее, только!

Злат зыркнул снизу вверх, вскочил, забегал, разыскивая чернила с бумагой.

– Обожди пока, обожди! Сейчас, я быстро. Управлюсь...

Грач стал смотреть, как, торопясь, пишет Златовид – с росчерками, разбрызгивая чернила, со скрипом пера по бумаге.

Вошёл, не стучась, Верига. Злат поднял голову. Губы сжал и молчал, пока дописывал. Дописал, спросил с мутными глазами – всё как недавно:

– Что тебе?

– Певец ушёл, – сообщил Верига. – Проводил его до леса, что над обрывом.

А Грач, увидав Веригу, только то и вспомнил, что Власта ему проговорила: «К нашей Руночке сватался, Верига руки просил...»

– Далеко ехать-то? – Грач дёрнул головой. – Скорей бы.

– М-гм, – Злат кивнул, свернул письмо в трубку, накапал воском со свечки. Воск застыл, и он отгиснул в нём перстень. – Съедешь за Навым лесом с Плоскогорья – по той же дороге, как в Карачар ехать. Доберёшься до Молочной реки, переправишься, а за Брынскими лесами держись Жаль-реки, всё вниз да вниз, не переходя её. Найдёшь сёла полевых вил – это где Жаль-река, не сливаясь, сближается с Пучаем. Становища Вольха где-то за ними – точнее не скажу. Будет лето, так он продвинется к Сорочинским предгорьям, а в эту пору, может, и чуть поближе стоит. Запомни: к алконостам не сворачивай, они чужие и встретят плохо...

Дальше Грач не слушал. Взял письмо, махнул рукой, ушёл со двора. Дверь закрылась, через неё послышалось:

– Как Вольхов бурый волк? Здоров ли?

– Что ему делается, – бросил Верига. – Волку в лесу.

Грач мигом вскочил на Сиверко и погнал его.

Ой, лихо понеслись кони! Как вихрь, как ураган помчались, не разбирая дороги! Не беда, что нет у всадника стремян под ногами, что в гриву коню как в повод не вцепиться. Они невидимы – эти кони, влекут, куда сами изволят! Это – дикая свобода и необузданная воля.

Под натиском сотен рук не устояли и рухнули ворота. Окружающий каторгу частокол трещал и раскачивался. Камни и осколки руды стонали под ногами упирающихся в землю каторжников. Зверёныш шумно дышал, кашлял и давился забытым «верхним», земным, воздухом. Жёлтые косматые волосы залепили ему лицо и шею. Он отплевывался, бранился, клялся отомстить врагам и ржавой киркой крошил в щепы косяк дубовых ворот. Тогда-то они и рухнули.

Вольга-Язычник, взмахивая перемазанной чужой кровью стальной бритвой, орал приказы, а мокрый клочок волос на ветру хлопал его по уху. Пал вывороченный из земли частокол. Началась свалка, каторжники рвались на волю. Кого-то задавило, но каторжане лавой валили вперёд, а позади остались забитые кайлами и кирками охранники, часто в спешке не добытые, брошенные и в раже затоптанные.

Ежедневная утренняя дудка стала знаком к общему бунту. По её свистку из штолен, имеющих отлогий выход, повалили на землю каторжники – с обрывками цепей, с кусками руды, с кирками наперевес. Повального бунта рудников остров Буян до этого дня не ведал, забои и шахты между собой не соединялись. Но кем-то наученные забойщики тайно пробрили штреки и переходы, и горняки из отвесных как колодцы шахт в условленный день прошли к отлогим штольням. Восстания охрана не ожидала, многие так и не поняли, что происходит.

Тревогу забили, когда ближняя стража была сметена. Кто-то заколотил в медное било, звон разлетелся над рудниками. Поднятая по тревоге дальняя охрана выбегала из казарм, да только и смогла, что построиться, прикрывшись щитами и выставив вперёд короткие мечи. Лава каторжников разметала их строй по двору. Кто-то защищался, прячась за щитом и отступая. Зверёныш углядел молодого буянца, злого и наглого как он сам, и, не раздумывая, ударил кайлом в его щит. Ржавое горняцкое кайло разом пробило щит и сокрушило кости. Мальчишка-стражник закричал и упал, Зверёныш наслаждался его страхом и с размаху опустил кайло на его голову. Драться Зверёныш не умел, но умел убивать. Так он заполучил первый в жизни буянский меч.

Когда пали ворота и частокол, раскрылась дорога, бегущая вьюном с гор, с рудников в город. С кайлом и мечом Зверёныш вырвался на волю. Река каторжан подхватила его и понесла к городу. Воздух заполнили хриплые вздохи, стон, сдавленная брань. Тысячи замотанных тряпьем и стёртых ног затопали вниз по камням. Сутулясь и озираясь, чтобы не споткнуться, Зверёныш углядел в потоке Ярца и Путьшу, а с ними прежнюю свою ватагу. Дорога бежала навстречу, торопилась вверх, в гору. Дорога сбивалась с ног, спотыкалась. За дорогой еле успевал, рос на глазах, близился город.

Кто-то захохотал. Наверное, опьянел от воли как от выкуренного мха. Город был открыт, наг и беззащитен. Лавина бунтарей – очумелых, голодных, истосковавшихся плотью – неслась на него, на бегу сбивая в кровь ноги. Сотни глаз, ртов и рук вождедели огня, пожара, забавы. Город лежал не шевелясь.

С горы виднелись как игрушки крышечки домов, улочки, площади. Горстка городской стражи разбежалась, блестя круглыми щитами, когда до оравы каторжников осталось полпоприща. Каторжник зол, он жизнью и судьбой обижен, тихий и безропотный на каторгу не попадает, а и попадёт, так проживёт недолго. Путь в город был свободен. Злорадствуя, бунтари прибавили шаг. Слева, ближе к морю, лежала гавань, где у причалов покачивались кораблики.

– В гавань! – приказал Вольга. Он поднял буянский меч, но в другой руке по-прежнему сжимал бритву. – Для мести и забавы время ещё настанет. Мы идём в гавань, где корабли! В море нас не сыскать. Не замедлим! В город идут войска.

Каторжники закусил губы, но с Язычником не спорили. Зверёныш видывал, как в забоях насаждался и рос страх перед скорым на расправу Вольгой. Ему подчинялись не прекословя.

Ниже по дороге, когда из гавани донёлся плеск волн и скрип канатов, Вольга опять остановил толпу и выкрикнул:

– Клянитесь не раздумывая! Подняв теперь руку и глядя в глаза мне, клянитесь! Что, если солжёт, то руку вам отсекут и голову!

Они поклялись ему. Поклялись не Судьбой-Долей – проклятая Судьба ненавидит их, а сладким духом свободы и мести поклялись служить ему до гроба.

– Клянусь отомстить, – чётко выговаривал Вольга-Язычник, – за животный мой страх и скотскую дрожь, за кровавый кал, сползшую струпьями кожу и выхарканные лёгкие. Отомщу всем сторожам, кандалам, судам, калёным щипцам и плахам. Не пощажу врага, где бы ни нашёл его. Сотню за убитого, полсотни за раненого!

– Сотню за убитого, полсотни за раненого! – кричали соратники.

Их крик услышали в гавани. Сверху было хорошо видно, как засуетилась внизу охрана, пытаясь равнять ряды. Купцы и моряки спешили отвести корабли в море. Они не успевали. Толпа каторжан с кирками и мечами уже катилась на них по горной дороге. Скоро у них будут корабли, а с ними воля и новая ушкуйная, разбойничья сила.

Корабль скор, неуловим, силён и лёгок, как конь. Люди на нём – всадники. По произволу летит разбойничий корабль, куда захочет. Впереди распахнулась свобода. А где-то на свете есть почёт, и слава, и власть. Зверёнышу было девятнадцать, скоро исполнится двадцать. Что, Зверёныш? Впереди открывается жизнь, и она снова тебе не нравится?

На хуторе Грач расседлал Сиверко – пусть пока остынет перед отъездом. Сбрую свалил прямо в углу да бросился в дом. Некогда ему! Грач торопился.

– Спроведили меня, да? – крикнул на весь дом. – А вот и ладно! Мне до вас дела нет...

Обеими руками он вцепился в сундук, краем торчащий из-под лавки, упёрся в пол ногами и, тужась, выдвинул его со скрипом на середину. Тяжеленный сундук, старый. Грач отбросил крышку, сунулся в него едва ли не с головой. Наскоряк выхватил со дна вещи, походную одежду – любую, какая попалась. «Всё, что ли?» – в раздражении прикинул. Ах, да! Ещё шапка, кушак и сапоги – без сапог всаднику нельзя. Да вот и седло, совсем новое, крепкое – Грач позабыл про него. Как раз для дальнего пути сойдёт.

Он поднял над сундуком голову, вскочил на ноги, огляделся. Что ещё взять? Дважды пробежал по горнице, собирая всё, что попадалось: нож – нельзя без ножа в пути, огниво, дорожную сумку. Возбуждённый замер вдруг перед столом, одумался, сообразил: нельзя же голодать в дороге. Запихал в себя кусок хлеба с варёной морковью, запил холодной водой. Пол каравая бросил в сумку – это на дорогу. Всё! Он собрался.

Выбежал из избы к Сиверко. Закинул на него новое седло и кое-как закрепил. Схватил оголовье.

– Стой, не верти головой! – прикрикнул.

Сиверко уворачивался от удил и, вывернув шею, тянулся зубами к левому боку. Ременная подпруга нового седла была перекручена дважды и стёрла бы кожу на конском боку до кровавой раны. Как тогда ехать? Грач охнул. Сник и расседлал всё напрочь.

– Молодец, Сиверко. Молодец, что не дался. А я, дурак, опять не в себе! Прости меня.

Сиверко чуть слышно проголосил в ответ.

– Верно, не к добру это, – Грач согласился. – Нельзя впопыхах. Я по утрам поеду.

Он поплёлся в горницу и понуро сел на пол – прямо у сундука. Привалился к нему боком и загрузил.

– Весь дом не унесёшь с собой. Всё равно, многое оставлю...

Он перегнулся через край сундука, стал искать. Где-то лежало здесь самое дорогое... Он взял это с собой в год, когда его изгоняли из посада. Взял на память. Ах, вот и нашёл! Грач

потянул, и небесно-синее полотно взвилось туманом-облаком. Кушачок, чудесный платок его матери.

По рукам струилась легчайшая, неведомой природы ткань... Да полно – ткань ли это? Нитей здесь нет. Узор причудливый, золотой, будто огонь горит и трава вьётся. В маминых руках кушачок оживал. В его руках – нет, ни разу. Но стоило маме покрыться им да коснуться земли, как мама становилась птицей. Вилы рождаются в таких кушачках, как иные люди рождаются в сорочках. Вилы лелеют их пуще глаза, потому как, утратив, теряют с ними свой дар. А без него не летать им всласть по небу, не кружить над полями и реками.

Грач сберёг его. Сам-то не мог стать птицей, но всё же сберёг. Так хотелось порой улететь в облака. Грач вздохнул и сложил платок. Тончайшая ткань, много раз свёрнутая, уместилась на ладони. – «Видам кушачок покажу – по-доброму встретят», – решил наконец.

Напоследок выискивая, не забыл ли чего, опять заглянул в сундук. Ну-ка... А что вот это такое... Из кушачка выкатилось? Грач поймал вещицу, извлёк её на свет и – обомлел. Дыхание перехватило.

«Ой-ё-ёй, мамочка... Это же мой Огнич...»

В руках у него оказалась маленькая восковая свечка. Небольшой столбик воска, украшенный по бокам причудливыми зверями и травами. Оплавленный верх, обгрызенный низ... Любимая детская игрушка.

«Мама моя! Как он попал сюда?» – Грач давно позабыл о нём. Думал, пропал, потерялся, истаял лет пятнадцать назад... Грач заёрзал, поднялся на колени, держа игрушку перед собой. Так и есть – это Огнич! Неужто притащил его шесть лет назад с другими вещами да бросил в сундук незамеченным? – «Ведь это же Огнич, мой Огнич...» – Грач снова сел на пол. Встреченное детство было таким живым и осязаемым, что слёзы на глаза навернулись...

...Он не помнил, когда появилась эта свеча. Не помнил, кто подарил её и как. Мама говорила, будто первое, что он сделал, это сунул свечку в рот и обгрыз ей конец. А после не расставался с ней. Всюду таскал её, играл с ней и даже спал, прижав её щекой к подушке. Так было до того дня, когда с предательскими слезами он вдруг решил, что вырос и детский друг ему больше не нужен. Так он забросил её. Отрёкся. Потерял и лишь иногда с чувством вины вспоминал, как кого-то преданного.

Мама рассказала ему, что в каждой свече живёт добрый дух – Огонёк, сын Солнышка. Так и стала свеча Огничем. С Огничем он делился тайнами, обидами, радостями.

– О-о-огнич, – провыл, дивясь самому себе, Грач. – Ведь я же обещал, я же клялся стать счастливее, чем есть. А вот предал тебя, бросил, потерял – и сам как и ты стал никому не нужен и всеми позаброшен...

Почему-то вдруг затряслись губы, и откуда-то из глубины легких, через гортань, сотрясая его частыми уродливыми судорогами, прорвались рыдания – горькие, сокрушённые, страстные. Слёзы лились по щекам, он не сдерживал их, дав им струиться по лицу и капать на пол.

– О-огнич! Дорогой мой О-огнич, прости меня! Я мерзок и отвратителен, я приносил другим зло. Я проклят, и я – изгой!

Хриплым баском он выл сам себе в голос, плюясь при этом и фыркая, как бывает, когда редко и в одиночку плачет мужчина.

– Я стал другим, понимаешь? Ты всё такой же – добрый и тёплый. А я – негодяй и убийца. Я просто так, от нечего делать, загубил три жизни. Ты прости меня... – он подавился плачем, судорога помешала вдохнуть. Задыхаясь, он размазал ладонью по лицу слёзы.

Он повалился на спину и долго ещё сотрясался всем животом и грудью, потом обмяк. Он молил Огничу вернуться к нему и более не бросать его. Молил помочь – хотя бы в слезах и в раскаянии. Потом судорожно, как в детстве, вздохнул всеми легкими и сел. Слёзы иссякли.

Когда-то, когда он был ещё добр и чист и радовался небу, он зажигал свечу и видел в огоньке пляшущую зелёную ящерку. «Это Саламандра, – говорила мама, – добрый дух света и огня».

Ещё до конца не веря, Грач поднял огниво и высек огонь. Зажёг свечу и поднес её близко к глазам.

Из пламени глядела на него умная и ласковая мордочка. Длинное изумрудное тельце, шустренький хвостик. Ящерка.

– Привет!

Пляшущая в огне Саламандра оказалось точно такой же, какой он видел её в детстве.

– Привет, – произнёс Грач. – Так это правда?

Он поднялся на колени, потом встал, держа свечу перед собой.

– Ты изменился. Ты повзрослел, – заметила Саламандра.

Грач бережно поставил свечу на стол. Отступил на шаг. Видение не исчезло.

– Я-то помню тебя ребёнком, – Саламандра приплясывала на пламенеющей фитильке, избегала по нему, обвивала его хвостиком. – Ты играл со мной, хотя я и старше тебя! С детьми легче, они искренни и доверчивы. Вот, были бы у тебя свои, мне было бы легче воспитывать их, чем тебя!

– Да ну, – Грач смущённо опустил глаза. – Я, правда, любил одну...

– Что же – это так быстро прошло? – по-птичьему прощепетала Саламандра.

– Долго говорить... Да ты, пожалуйста, и так всё знаешь. Про Руну и про меня.

– Всё же попробуй... Дерзай, мой друг, дерзай! – Саламандра подбодрила.

Грач помолчал, не зная, с чего начать. Решился:

– Не друг для друга мы с Руной живём, – выговорил он. – Только и всего. Я был глуп и связывал с ней свои надежды, а они вдруг – хлоп! – куда-то пропали. Вот, спрашивается, зачем мне было мечтать о ней? Поверь, я вправду был готов перемениться, едва она позовет меня. Может быть, я и сейчас мечтаю – хоть знаю, что ничего уже не будет. Да я изначально знал, что так случится! Мои беды – они со мною, они во мне. Понимаешь?

Вот, вспоминаю детство и не помню безмятежности. Маму помню, как она со мной мыкалась. Отец еле помнится – его увели на войну. Вот помню его сапоги, а выше я и не доставал... Мама к вилам не вернулась, так здесь и осталась. Как ей уйти – за столько вёрст с ребёнком? О! В землях вил есть сады, чудо-деревья, плоды, брызжущие соком! А у нас? Мы коневоды, у нас стояла и выгоны. А она вила, она близко к коню не подойдет. У нас в доме и овцы-то не было.

Помню – хромой сосед дрова нам рубил. А ещё изредка женицины помогали, да больше всех – Власта. Она-то и взяла меня к себе, она маме подругой. Тоже одна, без мужа, с дочерью. Со мной тяжело было, я видел, потому только подросток вернулся в дом отца. Я-то считался ведьмёныш, потому как – вилин сын. Я дрался. Путьша Кривонос бил меня, а Златовид – его.

Златовида с пелёнок знал. Настырный такой, нагловатый. Себя за вожака держал. Пацан к пацану – нас уже тогда целая ватага была. Мы-то как бешеные были. Кто без отца, кто без матери. Нам до жути радостно было, что где-то война – далеко, за Степью, но ведь война! Рассыпалось Братство. Развелись конокрады, на реках – ушкуйники. Удали нам хотелось, вольницы! Мы в ту пору как не в себе были.

Мы уходили в луга, в ночное. Там было старое тырло, укрытие для коней, в нём мы и обретались. А чуть стемнеет, хватали коней, с головой накрывались плащами – белыми и с дырками для глаз – да неслись по улицам. Боялись нас, аж окна запирали, а нам и сладостно. Коней крали – покатаются, загнать до пенного пота и бросить. Кто не по нраву, того избить могли, подворье сжечь. Девочек ловили. С нами люди не связывались – лишней мороки боялись.

У Злата с языка Чайка не сходила. Знаешь ли о ней, Огнич? Чайка... Ладисова невеста. Вот уж не кстати Ладис тогда подвернулся... Путиша возьми да и брякни: «Далась она тебе, что ли, достал уже всех своей Чайкой». А Златка аж завёлся: – «Далась, далась! Спорим, что даст», – а мне и говорит: – «Приведи сюда Чайку. Ладису насолить хочешь? Вот и приведи мне Чайку».

У Ладиса сестрёнка была, Снежка, нам ровесница... Нравилась мне... Ладис поймал меня, когда я к Снежке в окно забирался. Ушей не надрал – пообещал только, а я обиду затаил. Дурной я был, злой. Теперь-то и лица Снежкиного не вспомню... Так вот, это я Чайку к Златовиду вызвал. Сказал, приходи на старое тырло, весточка есть от Ладиса. Она удивилась, а пошла. Не было меня с ними. Что было там, я не знаю. Только... Вина на мне, Огнич. Утопилась она. Из-за меня, из-за моей досады на Ладиса, утопилась.

Ладис как помешанный сделался. «Убью, – говорит, – и Злата, и всю его ватажку». Он и не таких бил. Тоже – голова горячая. Ратник! Один на всех вышел. Наши встретили его ночью и забили до смерти. Долго, говорят, били, жестоко – звери мы были, зверёньюши. Баба, которая труп по утру нашла, чувства лишилась. А меня в ту ночь не было. Я нашу базу стерёг на старом тырле. Балахоны стерёг, плащи с дырками для глаз. Вот и не предупредил Ладиса. Побоялся: трусил ему на глаза показаться. Выходит, опять мой грех?

А по утру побежал к Снежке. Утешить её, как мне думалось. «Не бойся, – шепчу, – всё забудь, успокойся». Она плачет и льнёт ко мне – к плечу, к груди льнёт. У неё же не осталась никого, а тут я – как будто бы свой, наполовину к беде непричастный. Она плачет, и у неё ноги подкашиваются. Когда горе, тогда как на грех любить хочется. Ей после меня в спину кричали с плевками: «Братоубийца!» – сам это слышал! Потому как она со мною, с убийцей брата спуталась.

Не сберёг я её. Оставил по глупости. На день или на два позабыл о ней – только и всего. Она и пропала. Сгнула. Говорят, за Брынские леса ушла к отшельницам, а может, и утонула, как Чайка, или умом тронулась. Ни следа, ни вестей. Опять, получается, мой грех? Третья душа на мне.

Златовид со всей ватагой сбежал. «Всё, – заявил, – за ум берусь. Еду к старому Нилу учиться». Тогда все за ним и съехали, а уж куда попали, не ведаю. То ли в ратники, то ли в ушкуйники. Я остался. До конца не виновен, но кругом виноват. Судили меня. На сходе всем миром порешили: от общины меня отлучить, отцов дом отобрать, меня выселить... «Изгой» это называется. «Отщепенец».

Хутор этот – не хутор вовсе. Так... Заимку отец строил, выселки. Так и не достроил. Мне досталось. А Грач – это кличка за чёрные волосы. От отца – достались выселки, от матери – чёрные волосы. Так и зовут меня: Грач с лесного хутора...

...Он долго каялся, глядя в крохотные и понимающие глазки скачущей в свете свечи Саламандры. Он говорил о терзавшем его, о болевшем. Саламандра не прерывала его и слушала. Потому как покаяние не имело бы силы, если бы не было здесь того, кто слушает. Не прощает, нет, не оправдывает, а лишь слушает.

Грач не вытерпел тишины:

– Так что – это мой приговор? Никчёмной загубленной жизнью искупить вину за тех, чьи жизни я загубил?

Саламандра молчала. Огонёк плясал, и дух огня трепетал в его свете. В колебании свечи увидел Грач, как Саламандра вздохнула. Послышался голосок, стрекочущий, как сверчок тихим вечером:

– Может быть, от тебя никто и не требует таких терзаний. Я не знаю. Мир вокруг болен. В жару, в поту. Впрочем, лучше для тебя мыслить себя виновным, чем неповинным!

– Как это может быть! – всколыхнулся Грач, подаваясь вперёд, к пламени и свету, но свеча уже гасла, и лишь дымок вился над красной точечкой фитилька.

Встрепенулся Грач – и нет перед ним Саламандры. Восковая свеча стоит посреди стола, она ещё тёплая, податлив воск у её горлышка, а он сидит у разбросанного сундука и смотрит, как на боках свечи застывают струйки воска.

Грач тронул возле фитилька расплавленный воск. Обжёгся. Снял с мизинца застывшую как вторая кожа плёнку горячего воска. Красная точка на фитильке вздрогнула и погасла.

Часть вторая

Млейша

Глава I

У исповеди есть свойство: облегчая душу неокрепшую, она сообщает ей воздушную лёгкость. А незрелая душа, радуясь лёгкости, уносится порой в мир мечтаний – подальше от груза совершённых ошибок. Грач этой лёгкости не воспротивился и сладко отдался своему забвению. Ему привиделось, что не было последних одиннадцати лет и не было ещё Грача, а был десятилетний мальчишка, и была весна. Та самая весна...

Она пришла внезапно и с полной властью заявила о своём праве. Весну давно ждали, о ней шептались, но боялись взглянуть. Всем казалось, что царство зимы нерушимо, как крепость из заледенелого снега. Но в равноденствие что-то умерло. Умом не сразу это поняли, но сердцем почувствовали: да, умерло – старое, насквозь больное, отжившее.

Негромко и по привычке робея, чирикнули воробьи. За ними осмелело солнце. Испёкся и протёк горластыми ручьями снег в лесу и на пастбище. Ручьи обрушились в Пучай и Смородину – под вскрывшийся лед. Тогда же вернулись косяки гусей и уток – и высоко пронеслись над сёлами. А позже всех той весной в Плоскогорье вернулись ратники.

Восемь лет назад Опричное Братство направило за Степь ратников, чтобы помочь Арию в войне против Дария. Тот Арий, падишах пери, был свой и в юности жил у опричников в городе Карачаре взамен посланника. Дарий же, наоборот, с Братством не дружил и опричников у себя в стране не жаловал. Ратники помогли Арию, полгода осаждали и взяли для него неприступную столицу – город Сады Ирема. Но на беду Арий в бою погиб, а преемник его, Мардарий, заключил союз с Дарием. К тому времени пери из Садов Ирема весьма озлобились на ратников-победителей, и воинству Братства пришлось ещё несколько лет с боями прорываться домой, на родину.

Этой весной какая-то размолвка произошла в мире взрослых. Цветик вслушивался в разговоры, пытаясь выхватить что-нибудь любопытное, но усвоил лишь то, что ратники уходят из Приреченского посада и строят для себя слободу на новом месте. Тётя Власта тоже решила переезжать. Она надеялась, что жить собственным хозяйством станет легче, чем жилось в посадской общине.

Рано утром Власта подняла их.

– Лентяи мои, я сказала, чтоб вы с вечера готовы были? – прикрикнула на детей. – Сказала иль нет?

– Сказала-сказала, – повторила за ней Руночка, нарочно подражая матери.

Цветослав проворчал спросонья: чего там собирать-то, да смолк. Вещи-то давно сложены. Детям требовалось только свои игрушки отнести на возок да сесть рядом. У Руночки всё давно в узелки связано. Мелкая, а старательная.

Цветик весь месяц носился смотреть, как коневоды валят лес. Дождавшись первого тепла, мужики торопились расчистить место и свести березняк прежде, чем в стволах пойдёт сок. Потом внизу, под Плоскогорьем, валили строевой лес, и Цветик видел, как взволакивают на Плоскогорье обтёсанные из целых сосен брёвна.

– Цветик! Женщины ждут тебя.

Женщины – это Власта с Руночкой. Возок с домашним скарбом стоял за воротами. Запряжённая пара – жеребец с кобылкой – топтались по сторонам дышла.

– Иду! – Цветик забросил свой узелок в середину утвари, в узелке звякнули железки. Власта неодобрительно оглянулась, но не сказала ни слова. В узле у Цветославки гремели наконечники стрел, вымоленные, как драгоценность, у ратников. Особенно ценились те наконечники, что были извлечены из ран прежних владельцев.

Странные они, эти ратники. Не понимал Цветка: ну, вернулись бы и ходили как герои. Нет же, они говорят, будто не знают, за кого и за что воевали! Как это – не знают за что? Ясное дело – за наших, за Людское Братство. Да и против кого, тоже понятно – против этих, как же их, пери, ифритов и джиннов. Вот и победили! Кажется... Ратники теперь много пьют, а в других краях, вообще, бунтовать начали. Самих Писарей Братства избили и опричных мастеров и наставников повыгоняли. Взрослые так и говорят: всё, беда пришла, кончилось Братство. – «Ну, кончилось и ладно», – легко решил для себя Цветик.

Власта в последний раз подошла к дому. Посомневалась, не заколотить ли крест-накрест, да не решилась. Пусть стоит незаколоченным, как будто жилой. Что в нём кому понадобится? Остались одни старые скрипучие лавки-лежанки. Вот только стены жаль. Раскатят их по брёвнышку!

За новый дом в Залесье да за пару лошадей Власта ещё лет десять будет расплачиваться и со старой общиной, и с новыми соседями. А пока Цветик чуть не изнемог от скуки, едва дождался, что Власта закроет ворота и вернётся к возку.

С улицы свистнули. Цветик оглянулся, помахал Златовиду:

– Привет!

– Здорово, – десятилетний желтоволосый Златик красовался в куртке, перехваченной воинской, подогнанной под его размер перевязью с поясом. Таких вещей полно теперь в Плоскогорье. Каждый ратник принёс что-нибудь такое из-за Степи. Златка, наверное, вымолил перевязь у одного из них, а теперь цепко наблюдал, завидует ему Цветка или нет?

Цветик, конечно, завидовал – ратная перевязь это тебе не узелок с наконечниками стрел.

– Эту кожаную перевязь, – с высокомерием сообщил Златик, – носил тот, кто убил тридцать семь джиннов. Он был лучник! Мастер-стрелок, понятно?

Златовид положил левую руку на перевязь туда, где крепится меч. Он как-то заявил пацанам, что будет вырабатывать привычку держать вот так, по-воински, левую руку.

Под рукой вместо рукоятки меча торчала резная ручка складного ножа.

– С посада сваливаете? – продолжил Златик. – За лес, в слободу? – Он присел перед колесом на корточки и достал нож. Рукоять щёлкнула и выкинула клинок длиной в кисть руки. – Вот эту чеку от ступицы отковырять, – Златик показал ножом, какую и откуда, – колесо у вас и отскочит. Во – навернётесь!

Власта поправила, наконец, упряжь и села с дочерью рядом.

– Прокачусь с вами, пожалуй, – сделал одолжение Златик, взбираясь на возок к Цветославу.

Власта повела бровью в его сторону.

– Как собачки, Златик, живы, хвосты целы? – за такими шутками взрослые прячут раздражение. На днях соседи выговорили Власте, что мальчишки жестоко гоняла по улицам собак и что заводилами были Злат с Цветославом.

– И вам – здрасте! – Златовид уже научился дерзить в ответ.

Власта вздохнула. Лошади тихо пошли. Цветослав сидел, болтая ногами и стучая каблукками по ободу. Златик сказал без всякого перехода:

– Ратники говорят, что старец Нил сегодня поднимется на Плоскогорье.

Цветик загорелся:

– Тётъ Власт, увидеть бы! А мы вокруг леса поедем, да? – спросил скороговоркой. – Там старый Нил будет, вот посмотреть бы, – упрашивал.

– Вокруг леса долго, – Власта не оглянулась. – Мы по новой просеке. Да внизу старец ещё, не поднялся. Поднимется, вот и посмотрите.

Цветик разрывался – ой, как хочется бросить возок и стремглав ринуться вокруг леса! Вдруг Нил до срока поднимется? Что тогда? Цветик не увидит его в числе первых, и его засмеют! Кудесник здесь целую неделю, а Цветка его и вполглаза не видел. Нил – внизу, за обрывами, а там круча такая, что шею сломать можно. Оттуда взрослые пацанов смертным боем гоняют. Старшие братья, из ратников, те уже кудесника видели. Говорили, что Нил примирил плоскогорских ратников с жизнью, поэтому и не случилось здесь никакого смертоубийства.

В других краях, рассказывают, вернувшиеся из-за Степи войска не распускают по домам, боятся. Держат их под надзором, в казармах. А всё потому, что бойцы злые на власть – обмануло их Братство. Мятежа опасались и в Плоскогорье, да ни беспорядка, ни погромов так и не случилось. «Ску-учно!» – тянули, подначивая один другого Злат с Цветиком. Мальчишки всегда за тех, кто мятеж поднимает. Только-то и было, что галдѣж на площади да раздел посада на тех, кто за старую общину, где коневодством распоряжается Братство, и тех, кто за новую слободу, где конюшни свои, на личный страх и риск.

Слободжан общинники заранее не любят – как, впрочем, и ратников. Ратники большей частью ушли за лес, в слободу. Тётя Власта подалась с ними. Ратницей она стала тогда, когда три года назад ей сообщили, что её муж, Руночкин папка, пал за Степью под Садами Ирема. Пал, оказывается, в тех же местах, где двумя годами раньше при штурме Ирема убили Цветославкиного отца.

– Ну-ка, стой! – Власта натянула вожжи. С посадской площади донёсся людской шум. – Корма для коней выдают, не иначе! – заволновалась, соскочила с возка, выхватила из узла жестяные бирки. – Дети, я быстро. Цветик, следи, чтобы лошади не тронули.

Цветик соскочил, едва Власта отошла.

– Рунка, раз уселась впереди, то за лошадьми и смотри. Тронут с места – мать тебе голову оторвёт.

– Так ведь тебе оторвёт-то, не мне! – заспорила, возмущаясь, Руночка. – Мама тебе приказала, ты же старший!

Права, права Руночка. Но так не терпелось узнать, что площади делается. За эти бирки Власта и Цветик работали всё прошлое лето. Власта уходила на общинный сенокос и пастбище, а Цветик разгребал в конюшнях навоз. Обещали за день выплатить по бирке, но осенью сказали, что Цветка как малолетний получит в два раза меньше.

Бирки меняли теперь на корм для личных лошадей. За бирку давали одну меру троянки, мешанины сена с соломой, либо полмеры сочного корма, прелой морквы со свеклой, либо четверть овса. Кормами заведовал общинный староста. Млад медными щипчиками ломал обменные бирки.

– Младик, лапушка, – заискивала тётя Власта, – отпусти-ка мне овса, милый. А, что не так, любезный?

– Не положено, – Млад нахмурился. – Община решила от слободских бирок не принимать! Раз ушли из посада – стало быть, кончено с вами.

Посадский двор зашумел, заворочался. Общинникам теперь кормов больше достанется.

– Не по совести это, не по уговору, – затянула Власта.

Звякнуло окно Посадской Избы. На холодок по пояс высунулся Гоеслав, бывший Писарь местного Братства:

– По уговору, всё по уговору! Лошадей у нас выкупили, рабочую силу с посада свели. Это ратники вас попутали! Нил с Асенем вас баламутят да Ладис им подпеваает!

– Кто тут ратников помянул...

К Посадской Избе, хромая, приближался Ладис. Голос у него высокий, но будто посаженный, словно сам он до сих пор в разведке либо на марш-броске, где шум производить опасно. Сказывали, что это Ладис сманил плоскогорцев уходить в слободу. Ратники признают его за старшего, хотя он молодой и не заслуженный. Чуть-чуть подволакивая ногу, Ладис собирався подняться на крыльцо, но увидел в окне Гоеса и приостановился:

– Ты, что ли, ратников поминаешь?

Общинный писарь заёрзал, хотел спрятаться, но не стерпел и выкрикнул:

– Понавезли себе добра награбленного! Знаем, знаем мы, откуда добро у ратников. Братству всё про вас известно!

– Где оно теперь, твоё Братство, где опричники, – ратник отвернулся. Что толку с Гоесом воевать? – А про добро не угадал. Своего я врагу не отдал, хотя джинн-воин мне ногу отнять пытался. Да и чужого не взял – ни щита рассечённого, ни лука сломанного.

При слове «опричники» из-за спины Гоеса едва не выскочил в окно старый вояка Ратко:

– Разберёмся! – взвизгнул опричник. – Всех на чистую воду выведем!

– Жизни бы лучше радовались, – Ладис слегка поёжился на холодке.

– Залесью красного петуха пустим! – из-за спин взрослых вылетел тоненький голосишко Ратича, внучонка Ратко.

Слободские ни с чем расходились с посадской площади. Цветик вперёд досадующей Власты припустил к возку. Руночка снисходительно глянула на него и обещалась не выдавать.

Колёса возка постукивали по свежей, не наезженной ещё просеке, утварь погромыхивала в возке, а мысли Цветика витали где-то по сторонам. Витали-витали да на Ладиса перескочили. Всё-таки, здоровский он мужик, Ладислав-лучник. Пацаны как-то раз обступили его и давай требовать: – «Расскажи да расскажи, чего на войне было». – А он: – «Не хочу про мертвяков вспоминать». – «Ну, тогда веселого, веселого что было». – А он в сердцах возьми и брякни: «Дурной травы до одури выкуришь – вот тогда до усрачки весело. У дома дерево торчит – весело! Дом подожгли и мужика на дереве вздёрнули – ещё веселее!»

Цветик ни разу не видел повешенных. А что, это и в правду смешно? Говорят, они пляшут и дрыгают ногами. Увидеть бы...

Их дом теперь третий в слободе, если считать от просеки. Цвет соскочил на землю, едва возок остановился. На соседней улице шла стройка. Мужики впятером взволакивали на стену тяжеленную балку, а внизу стояла ватажка ребят, а среди них Златовидка.

– Слышь, мелкие, отошли бы! Зашибу, так до смерти греха не изжить, – рявкнули сверху.

Златик, глядя мужику в глаза, как стоял на одном месте, так ни на шаг и не сдвинулся.

– Ну и малыцы пошли, – буркнул мужик, сдавшись. – Ни взгляда, ни окрика не бояться.

Пацаны и впрямь пошли бешеные. Ни угрозы, ни брань в грош не ставят. Ещё и сами обложат. Старики побаиваются их и стороной обходят места, где ребятня собирается.

Златка, сохраняя достоинство, отошёл в сторону. Подмигнул Цветику, как свидетелю его победы.

– Эй, привет, придурки! – сзади раздался хрипатый голос с признаками вечного насморка. Цветославка и Злат медленно обернулись. Там стоял Путьша Кривонос и весь светился от удовольствия.

– Это ты – придурок, а я – Златовид Кучкович, – внятно объяснил Златик.

– Гм-м... Да это я так... просто... Злат, – замямлил Путьша.

Злат нарочно держал Путьшу при себе. В руководстве ребячьей ватажкой он у Златика вроде правой руки. Путьша тупо соображает, но зато жесток в расправах. Теперь что-то трепыхалось под Путьшиной курткой. Цветик не удивился бы, если это была полузадушенная крыса, приготовленная, чтоб бросить в лицо ему, Цветославу.

Путьша как раз завозился с курткой, и Цвет отпрянул, готовый заслониться руками, но под курткой оказалась не крыса, а скрученная проволокой чёрная птица.

– Что это? – Цветик от неожиданности вытянул шею. – Чёрный грач?

– Во какой! – радовался Путьша. – В силоч словил! Гляжу – трепыхается. А их там нале- тело! Я за лесом на лугу ставлю, на зерно ловлю.

– Дай-ка сюда, – Цвет протянул руки.

– Чего тебе! Мой! Из моих рук смотри!

Цветик отобрал птицу. Грач задыхался, проволочная петля перетянула ему лапы и кры- лья. Он, казалось, почти не дышал. Только полузакрытое птичье веко подрагивало. Цветослав попытался оттянуть проволоку, но она остро вонзилась в тело птицы и затянулась ещё туже. Грач умирал.

– Он же домой вернулся. Он летел долго. А ты его так, проволокой, – Цветка всё же не заплакал от жалости. Сдержался.

– Ты ещё поцелуй, поцелуй его! – заржал Путьша. – Грачиный папа! Сам как грач, чёр- ный! Грачиный папа!

– Кривонос, – обозвал его Цветка.

Грача без разговоров забрал Златовид. Придерживая ему голову, Злат вынул из-под рубахи складной нож и выпустил лезвие.

– Ты зачем это, Злат? – Цветик чуял недоброе.

– Он же мучается? – бросил Злат через плечо. – А знаешь, как от удушья долго умирают? Мне ратники говорили. Там джинны пленных в землю закапывали, чтоб задыхались подольше.

Острие укололо грачиное горло.

– Дай я, дай я! – завертелся Кривонос. – Златик, ну, пожалуйста, дай я!

Злат великодушно отдал ему нож и полумёртвую птицу. Торопясь и сопя, Путьша зарезал грача, распоров его от самого горла до хвоста.

– Зверюга ты, – выговорил Цветослав.

– Он бы всё равно сдох, – заверил Путьша. – А ты – Грач, Грач! Иди, давай! Вон твоя Снежка явилась. Поцелуйся с ней!

Цветик невольно глянул, куда ему показали. Снежка и правда ему нравилась, хоть этого он стеснялся. Он уже трижды отнимал у Снежки пряники и дважды пугал её лягуш- ками. Наблюдать за её испугом доставляло некоторое удовольствие – смесь неумелой жалости и неловкого сочувствия. А ещё трогательно хотелось понять, чем же эти девочки так отлича- ются – помимо длинных волос и передничков.

На стройке появился Ладис, а Снежка, младшая его сестрёнка, вертелась рядом. К Ладису как раз приблизилась посадская тройка – бывший братский писарь Гоес, староста общины Млад да опричник Ратко. Ладис напрягся и цыкнул на сестрёнку, отогнал её, чтобы не мешала. Цветослав поёжился. Вдруг померещилось, будто всё, что он видит, а с ним уже было – то ли во сне, то ли наяву. К нему, а не к Ладису будто бы шла посадская тройка с приговором о высе- лении. Странная эта мысль зависла в воздухе, и померещилось, что Цветка сам на себя со сто- роны смотрит. Так порой во сне бывает...

Старый опричник Ратко брезгливо взглянул на Цветку, а тот судорожно сжал в руках отнятого у Путьши мёртвого грача, ему и мёртвую птицу жаль было бросить на улице. Старик сморщился, сжал кулаки и, наступая на Ладиса, заорал на него прямо посреди стройки:

– Общину рушишь! Тех, кто тебя выкормил, кусаешь! Основы подрываешь!

На скулах у Ладиса медленно натянулась кожа, а руки его напряглись до посиневших вен.

– Сказать, старик, когда я основы подрывал? – со свистом он выдохнул. – Когда под стены Садов Ирема подкопы рыл! Рыл, да завалило меня, а когда выбрался, – он, сдерживаясь, перевёл дух, – то такие, как ты, меня полуживого допрашивали, не в плен ли сдался и как это вышло, что живым вернулся.

– Да твой полк распускать нельзя было! – взвился старый Ратко. – В острогах вас дер- жать – от честных-то людей подальше! Бунт затеяли!

– Бунт, говоришь? Я, пока при смерти лежал, клялся: коли выживу, так всех вас, кто меня за Степь послал, до смерти порешу. Вот это был бы бунт! – выкрикнул Ладис, так что Снежка испугалась и отпрянула. – Нила, доброго старца, поблагодарите, что я встретил его, а он мысли во мне переменял.

– Отщепенец, выродок, мерзавец! – зашёлся вояка Ратко. – Ты – сукин сын и сам щенок! – развоевавшийся старик размахнулся и раскрытой сухой своей ладонью ударил Ладиса в лицо.

Не в челюсть, не по щеке, а именно что в лицо: по губам, по глазам, по носу. Ладис покачнулся, переступил, но на хромой ноге устоял. Снежка тоненько вскрикнула, Цветик в порыве метнулся к ней, забыв, что держит в руках мёртвую птицу. А Снежка, увидав её, закричала, истошно зайдясь в плаче и отмахиваясь:

– Ой, это грач, мёртвый грач! Не надо, мамочка! Грач!

Цветославка растерялся, ошарашено понял, что все вдруг накинулись на него: Ратко шипит и с ненавистью грозит кулаками, Гоес, растопырив руки, ловит его, Ладис замахивается, Златовид предательски тычет в него пальцем, Путьша хохочет. На один миг мерещится, что он, Цветка, и есть эта скручённая птица.

Порывисто он оборачивается и видит Снежку, испуганную, в слезах. Она глядит на него и будто бы заранее знает то плохое, чем всё закончится. Цветик от неё шарахается и взглядом упирается в обреченные, смирившиеся с будущей болью глаза ратника Ладиса.

«Что вы хотите от меня?! – пытается кричать Цветослав. – Что вы смотрите?! Огнич! Огнич, где ты? Помоги мне!»

– Огнич! – Грач просыпается, а в глазах ещё мерещатся те взгляды – ждущие, требующие, укоряющие... Где он сейчас – в доме матери или у Власты? Ах, да. Он – изгой, он на своих выселках.

Темно. Он прижимает к лицу руки, чтобы в закрытых глазах вспыхнули огоньки. Осознаёт, что так и сидит у сундука, посреди комнаты.

– Ты теперь со мной, Огнич, – шепчет Грач. – Ты не бросай меня. Ты мне нужен.

Глава II

Вещей у него мало. В основном, это одежда, что и так на себе. Ещё письмо Златовида да в особом свёрточке на груди – чудо-кушачок матери и её бусы из бирюзы, это на удачу. Всаднику в дороге важнее то, что может понадобится коню. Грач через сени прошёл к стойлу. Сиверко всхрапнул, потянулся к нему губами.

– Привет, привет, – Грач отмахнулся, по-хозяйски осматриваясь.

Здесь на стене висит сбруя, приготовленная ещё с вечера и натёртая вонючей мазью из дёгтя, воска и рыбьего жира. Тут же попона с капором, чтобы холодными ночами укрывать Сиверко, и новенький чапрак. Вот тут Грач заколебался: чапрак это покрывальце под седло, чтобы не натирать коню спину, вещь неплохая, но лишь тогда, когда скачешь от хутора до Залесья. В дальний путь лучше взять что-нибудь поплотней. Из угла Грач выдернул войлочный потник – пусть не новый, потёртый, но зато прочный.

Он обернулся к Сиверко:

– Ну, вот теперь привет, красавчик. Ну-ка, давай, показывай свои ноги!

Грач присел, чтобы осмотреть и ощупать у жеребчика сухожилия на пястях и бабках. Жеребец молод и крепок. Сухожилия у него в порядке, их даже не надо перетягивать жгутами. Растяжений не случится. Но гнать во весь опор Грач не станет и жгуты, на всякий случай, с собою захватит.

– Умник, Сиверко, молодец!

Он вывел жеребчика со двора – лучше седлать его на воле, чем суетиться лишний час во дворе. Закрыв за собою дом и ворота, и вдруг болезненно сморщился: по просеке со стороны Залесья шли Власта и Руна. У Грача даже перехватило дыхание. Руна была по-весеннему хороша, а он мучился, стараясь не глядеть на неё или же, если бы такое было возможно, смотреть насквозь, как будто она из стекла. Лихорадочно он подыскивал слова для объяснения своего поведения, но так и не подыскал их. Руна успела подойти.

– Ну? Что больше не заходишь? – спросила с вызовом в голосе. – Привет, говорю!

– Здравсте, – выдавил Грач. Сказал-то это обеим, а в глаза поглядел одной Власте. На Руну смотреть он был не в состоянии. – Собираюсь, вот.

– Да я вижу, – протянула Власта со вздохом. – Нам Златовид говорил. Когда же тебя ждать? К осени?

– Да нет, вы что! За месяц обернусь, отдам письмо и обратно, – а сам подумал: – «Неужто к осени?»

– Ой, ну, счастливо тебе. Пойду, а вы с Руной пока попрощайтесь, не буду мешать.

Грач уложил потник на спину Сиверко и вздохнул, якобы непринужденно.

– Ну? – повторила Руна. – Что не зашёл? – Так требовательно спрашивать умела она одна. – Взял бы и уехал, не сказав ни слова?

Грач потерялся:

– Так дела, работы было много... – стараясь не поднимать глаз и не дышать запахом Руны, он уложил на потник седло, сцепил под брюхом жеребчика передние подпруги, расправил задние.

– Да что ты! Чем же ты занимался? – допрашивала Руна.

– Сама понимаешь. Где сбрую привести в порядок, где седло подправить, – он постарался сказать это легко, но голос выдал его напряжение. – Коня-то обслуживать надо, как ты думаешь!

Зачем-то он натянуто рассмеялся и тут же сосредоточил всё внимание на подпругах и путлищах.

– Понятно, – Руна не разделила веселья.

– М-гм, – сказал Грач, и они замолчали.

Молча Грач надел на шею жеребчика подперсье, пристегнул верхние ремешки к луке седла, нижний ремень пропустил меж передних ног под брюхо, скрепил его одной пряжкой с подпругой. Молчать стало невыносимо.

– А ты чем занята? – спросил, через силу.

– Да какие у меня дела! Это же у тебя всегда новости! – вырвалось у Руны.

Грач спиной почувствовал, как Руна скрестила на груди руки. Пришлось сделать вид, что он разбирает запутавшееся оголовье. Захотелось, чтобы всё это побыстрее закончилось. Поэтому он разлепил губы и напомнил:

– А вы, смотрю, куда-то идете.

– В Приречье, – помолчав, с прохладцей обронила Руна.

– М-гм, – опять сказал Грач.

Ему сделалось вдруг так неловко, так стыдно и за себя, и за свои слова и поступки. Он накинул на коня оголовье, а жеребчик замотал головой и переступил с ноги на ногу. Теперь бы прикрикнуть на него: «Ну-ка, стой, Сиверко!» – да Грач постеснялся Руны. Хотелось раствориться в воздухе. Он заботливо уложил на дёсны коня грызло и удила, подтянул узду, расправил повод и с облегчением услышал за спиной:

– Ну, пока!

Он тотчас повернулся, закивал поспешно:

– Ага, теперь до осени, – и сцепил руки, чтобы ненароком не коснуться ими Руны.

Руна отвернулась и побежала в Приречье. Грачу стоило большого труда не смотреть вслед. Руна скрылась. Его конь был осёдлан. Накопившаяся досада вырвалась вдруг от всего сердца:

– Ах, да что же ты не зашёл, она ещё спрашивает! Смотрите-ка, какой вопрос неожиданный! Зар-раза, – он сжал кулаки, относя последнее слово к себе самому. – Хоть, хоть! – прикрикнул он, вскакивая в седло. – Да пошёл же, пошёл быстрее!

Просека побежала навстречу, потом полетела, потом понеслась. Ещё немного, и он прирмчится к Залесью. Не желая смотреть на знакомые с детства дома, Грач резко свернул на тропу, что бежала к чаще Навьего леса. Еловая шишка вылетела из-под копыт и звонко шелкнула в дерево. Скоро край Плоскогорья, опушка леса, Велесов луг, а за ними склон, круча – и прощай, родной дом.

– Сиверко ты мой, Сиверко! – Грач на скаку сам себе приговаривал. – Я столько лет мучился. От этой любви, будь она неладна. Вздыхал, на луну выл, как продрогший волк, – и всё зачем? Чтобы мне, как последнему беспутному человеку, объяснили, что я предосудителен и порочен? Разве же это заслуженно, Сиверко?

Сиверко не отвечал. Он вздрагивал спиной и привыкал к новому, жёсткому, пахнущему дёгтем седлу. Тропка под ногами бежала резво, путь был хорошо знаком. Грач не раз срезал здесь дорогу. Он еле успевал отбивать рукой ветви с мокрой зеленью да пригибаться под сучьями потолще...

– Эй, Златовид, это ты, что ли?

Приятеля Грач заметил первым. Лес кончался, скоро начинались обрывы и сразу за ними – дорога на Карачар. Златовид бежал навстречу – как раз от обрывов.

– Ну, так что, я отправляюсь? – Грач еле сдержал коня, поравнявшись.

Злат промычал что-то невразумительное и стал торопливо отряхивать одежду. С куртки и штанов посыпалась, упала на снег, став от этого ещё заметней, бурая шерсть. Злат неуклюже втоптал её в скрипучий наст.

– Со своим псом, что ли, игрался? – Грач был в седле и глядел сверху, а это, как-никак, преимущество в неудобном разговоре. – Я как-то видел его в лесу. Это же волк, а не пёс. Да?

– Да? – бессмысленно повторил Злат. – Ну, ты бывай, бывай, Цветик, до скорого! – он протянул ему руку. – Дороги тебе ровной, без ям и косогоров.

– Как скатерть, – буркнул Грач и, не коснувшись его руки, тронул повод.

За лугом, что стелился над кручей, он чуть-чуть проехался по снежку вдоль обрыва, выискивая, где безбоязненно начать спуск. Выбрал, наконец, участочек и пустил Сиверко под уклон с кручи. Конь заскользил вниз, упираясь и перебирая ногами. Навстречу полетели заснеженные всхолмья и косогоры, заросшие склоны и уступы оврагов и яров. Знакомая фигура промелькнула где-то сбоку, почти вне поля зрения. Грач на ходу оглянулся, выворачивая шею. Да кто же это – неужели Асень?

На первом уступе Грач удержал Сиверко и оглянулся ещё раз. Конь заплясал под ним, а Грач завертел шеей. Певец Асень маячил на самом верху, над склоном, и оттуда, казалось, пристально всматривался в Грача. Даже сейчас, с расстояния полуполёта стрелы, чудилось, что заглядывает он в самую душу. В груди стало горячо – именно в груди, где, наверное, гнездится душа. Асень, чувствовалось, хочет что-то ему сказать, вот он почти шагнул вперёд, вот даже приподнял руку, чтобы помахать Грачу...

– Фьють-фьють! Гоп! – над склоном раздались свист и гиканье.

Сверху, с Плоскогогорья, съезжали два всадника – Добеслав и Скурат, подручные Златовида. Первый свернул под уклон, конь его пронёсся по косогору, отсекая Асень от Грача, в руке у всадника поблескивала сабля. А второй наверху тем временем наступал на певца, вздымая кистень, плеть-многохвостку с убойными гирьками. Асень отступил, закрывая руками голову. Ещё пару шагов, и все трое скрылись из виду.

Грач тронул коня, рассчитывая, что с другого уступа что-нибудь видно. Он даже постоял там немного, растеряно крутя головой, но ничего не дождался. Только снег на склоне искрил – и тишина.

Грач шевельнул поводом, Сиверко шагнул вперёд и вниз. Дорога заскользила навстречу, разбрызгивая по склону снег из-под копыт.

К полудню Сиверко вышел на тракт, укатанный карачарскими обозами. Тракт всё ещё бежал под уклон, теперь, впрочем, отлогий да без ухабов и рытвин. Грач какое-то время по привычке подгонял Сиверко, стремясь скорее миновать все ближние леса и косогоры, но, одумавшись, стал придерживать его. Нельзя же упарить жеребчика, этак и застудить недолго. Всадник ни за что не позволит коню бежать, как вздумается. Часть времени можно гнать его вналёт, зато потом столько же времени сдерживать и вести шагом, часть времени – скорой рысью, и снова шагом и только шагом. Так и чередуют: вналёт – шагом, рысью – шагом. Такими переменками всадник одолеет за день три, а то и четыре дневных перехода.

Семена под горку, Сиверко встряхивал Грача, а тот, не моргая, загляделся на плывущий мимо них и перламутрово переливающийся под солнцем снег. Мысли текли сами по себе, порой слетая сдвигающихся губ:

– Вот, странная это вещь – любовь. Такая... неодинаковая, разная! А всё одним словом зовется: лю-бовь – коротко и даже бессмысленно. Что это такое: лю-бовь? Вот, была у меня любовь-окрыление – когда хотелось петь, кружилась от восторга голова, а сам был как пьяный и какой-то... счастливый? Ну да, счастливый. А была и любовь-ревность – вот уж, не приведи Судьба: в душе огонь, и кулаки сжимались, и, помню, сотворить хотелось что-нибудь безрассудное и злое, что-нибудь доказать, а что и кому, не помню. После и третья любовь была, совсем уж, пожалуй, нелепица: любовь-ненависть, любовь-обида – когда ревность прогорела, а пепел остался. Так он-то, этот пепел, и томил, и морочил до тошноты, а ведь всё равно – это тоже любовью было. Вот и последняя любовь есть... любовь-боль – без ревности, без обиды, просто капли крови выступают на сердце и точат его – молча, без слов, однообразно. Так больно... Зачем мне сдалась она – такая лю-бовь? То счастье, то ненависть, то обида, то боль... Славная была штука – лю-бовь, красивая...»

Вечерело. Снег всё также искрился, а Сиверко сошёл с карачарской дороги и двигался себе по долинке вдоль нижней отрасли плоскогорских лесов.

– Хоть-хоть! Побыстрее, красавчик!

Склоны и само плато Плоскогорья давно пропали из виду. Хотелось развеяться, выветрить из головы отяжелевшие мысли. Грач погнал Сиверко во весь опор, приподнимаясь, как следует, в стременах, когда конь перемахивал через коряги.

– Эх, Сиверко! До чего же мир нелеп этим летом! – прокричал Грач, старательно веселя себя. – Леса зеленеют, а сугробы всё горбятся. Чего ему не таетя, снегу-то! Таял бы себе...

Он резко умолк. Ему на время померещилось, что впереди причудливо играют лучи вечернего солнца. Что-то вдали как будто обрывалось, так масло ножом отсекают. То ли свет заканчивался, то ли мир круто менялся. Сиверко сбавил ход, затрусил мелкой рысцей и вконец заартачился. Грач и сам заколебался, заёрзал, но тут же заторопился и в нетерпении погнал жеребчика, чтобы скоро осадить его на самом краю белого искрящегося мира.

Посреди лесной поляны кончался снег. словно кто-то начертил ему пределы, плугом пропахал здесь межу. Грач не выдержал и соскочил с коня, снег привычно всхлипнул под ногами. Он переступил межу. Земля на той стороне была обычной, воздух тоже – не свежее, не жарче. Грач сел на корточки, коснулся травы и снега. Снег был холодным, мокрым и липким, трава – мягкой, тёплой и колко-шелковистой.

Вот, если поглядеть строго вдоль края снега, то видно, как неосязаемая межа исполинской дугой уходит сквозь редкий лесок всё дальше и дальше. Медленно-медленно погибает она, стремясь где-то замкнуться и окольцевать собой, как ведьминым кругом... что? Плоскогорье?

Грач слепил снежок и забросил его в траву. Снег плюхнулся в середину листвы одуванчика и на глазах истаял.

– Бр-рр-рр! – затряс головой Грач, будто гоня наваждение.

Он оглянулся. Позади по-прежнему торчал из сугробов редкий лесок, белели заснеженные овражки, косогоры и перекааты. Отсюда, с зеленой летней травы, снег этот казался рассыпанной по лесам и оврагам солью.

«Солью? – усмехнулся Грач. – Откуда она здесь? Кто её столько... наплакал?»

– Сиверко!

Жеребчик, сколько бы не мешали ему удила, уже пощипывал зелёную травку.

– Нам некогда, поехали! – Грач вскочил в седло, натянул повод.

Снова побежала дорога, снова замелькали деревья. Теперь без снега. Когда-то в этом лесу жили лесовики и навии. Лес этот считался нижней отраслью верхнего Навьего леса, хотя и был отделен от него другими урочищами. Теперь Навий лес пустой, Рода Людского здесь нет и в помине. Сиверко спокойно прядает ушами, едва слышит то белку, то птицу. Белка и птица враз бы умолкли, окажись неподалеку хоть одна навия, или лесовик, или иной кто-нибудь из лесного народа. Живность всегда перед ними смолкает, зверьё, как и домашний скот, любит лишь человека, а иных боится – как-никак, нечисть.

В лесу смеркалось и вечерело. Становилось неуютно и страшновато. Нет, не оттого, что из-за дерева вылезет леший, а из-за оттого, что как раз и не вылезет – некому. С лесовиком договориться можно, а с медведем – попробуй-ка.

Зверя одомашнить лесовикам во век не удастся. Повелевать охотой, кочевьем или кормежкой зверя – это одно, а жить рядом с ним, ухаживать – совсем иное. Тут человечья природа нужна, чтобы зверей приручать. Зато лесной народ приручил деревья. Это правда, в порядке вещей, чтобы дерево лесовику поклонилось или по приказу перешло с места на место.

Над головой, как нарочно, со свистом крыл и с противным шорохом пронеслась летучая мышь. Грач разглядел мерзкую мордочку с раззявленным зубастеньким ртом.

– Тьфу! Вот уж кто нечисть так нечисть!

Пора подумать и о ночлеге. Грач отыскал уютную полянку или, скорее, прогал среди деревьев. Спешился.

– Мы спать будем тут, Сиверко, – сообщил Грач, расседывая конька и вынимая из сумы попону с капором. – Считай, что мы в ночное пошли. Хочешь, травку покушай. А я сейчас костерок разведу.

Грач укрыл жеребчика попоной, набрал хворосту и палок, развёл огонь. Согрел сначала руки и полез в сумку за припасённым ужином – куском хлеба, варёной морковью и четвертью кочана капусты. Сиверко через его плечо потянулся и цапнул губами два листа с кочана.

– Уйди отсюда! – Грач оттолкнул его голову. – Для тебя полный лес травы, а ты лезешь.

Ночи стали уже недлинными, но здесь, в глубине леса, оставались тёмными. Грач торопился быстрее заснуть, пока костерок не испустил последние языки и не сдох.

– Сиверко, – шёпотом позвал он: кричать ночью в лесу было боязно. – Хорошо бы нам завтра до людей дойти, а? А то припасов не много...

Где-то в лесу хрустнуло. Грач поднял голову, но ничего в черноте ветвей не увидел. Сиверко – весь в отблесках костра – насторожился, вытянул шею, поднял морду и, подбираясь поближе к огню, утробно промычал, как иногда мычат лошади.

– Что там? а? – Грачу сделалось не по себе.

В этот миг через всю их полянку, едва не опалаясь костром, пролетела огромная мохнатая тень. Зверь пронёсся, разбросав собранный хворост и круша своим весом ломкие сучья. Сиверко шархнулся от него, заголосил по-жеребячьи, припал на задние ноги, чтобы вскинуться и лягать передними. Грач вскочил, клацая зубами:

– Волк! Ты видел его, Сиверко?! Это же – волк! – закричал шёпотом. – Здоровенный волк! А масть, ты видел его масть? – на мгновение зверя осветило костром. – Он рыжий, этот волк. Бурый!

Сиверко что-то отвечал – то ли всхрапывал, то ли подвывал.

– Бурый, бурый! – настаивал Грач, а дрожь ещё колотила его. – Бурый как тот, Златовидов. Он, несомненно он. Ведь и шерсть его Злат с себя стряхивал, – Грач опустил на траву.

Громко и отчётливо хлопбытнули удары бича. Взвихрилась с деревьев листва, затряслись макушки у елей. Что-то тёмное пронеслось над лесом. С первым порывом ветра Грач вжался в землю. Раздался вой – вой не одинокого волка, но многих, многих зверей. Стало слышно, как мимо бежит целая стая. Шумели растрёпанные ели, а за их ветвями в издыхающих сполохах костра Грач видел мчащиеся вслед бурому волку тени. Снова где-то хлестнул бич, точно некий пастух гнал своё стадо, и опять, как будто отвечая ему, завывли волки. Через мгновение ветер стих, а вой волков слился в дали с шумом деревьев, и стало казаться, что всё случившееся – это лишь морок, игра ночного страха.

Вот только старая бабкина сказка не лезла из головы. Сказка-быль о Волчьем Пастыре, что будто бы гонит кнутом волчьи стаи на прокорм в новые страны. Тогда по окрестным землям слышатся удары его кнута, а там, откуда они раздаются, готовится зверью пожива – множество убитых на новой войне людей...

Стуча от страха зубами, Грач полез за пояс, где в загашинике лежали нож, огниво и Огнич, материнская благословенная свечка. Поднёс фитилёк к костру, и воск затрещал, разбрызгивая горячие капли. Свеча вспыхнула.

– Страшенько на душе стало? – явилась в огне Саламандра.

– Страшно, – признался Грач и заторопился: – Это тот самый волк, да? Как ты считаешь? Ну, тот бурый волк, которого я у стрелков видел?

Саламандра молчала. Огонь на свече замер и даже не колыхался.

– Ну, это ясно. Ясно же, что волк – тот самый, – Грач сам себе ответил. – Стрелки его прячут, я видел. А Златовид бурую шерсть с одежды стряхивал.

– Ты не о том рассказываешь, – перебил его Огнич. – Ты лучше о том говори, что на сердце лежит.

Грач помялся. Глянул мимо Огнича в лес, плечами пожал:

– Не знаю... Пустота у меня там. Или нет – пустота не болит. Боль, там боль у меня осталась. Мысли лезут унылые. Бабкина сказка привиделась, про войну и про Волчьего Пастыря... – Грач запнулся. – Как ты считаешь, я это на самом деле увидел?

– Ты просишь, чтобы я раскрыл тебе то, что тебе захотелось понять. Но, дружочек мой, чтобы понять и принять что-то весьма важное, надо для начала освободить в себе для него место.

– Как это? – опешил Грач. Горячий воск со свечи стекал ему на пальцы.

– От чего-то в самом себе отказаться. От того, что сейчас кажется тебе весьма важным. Найди это в себе. Сломай. Сокруши самого себя. То понимание, которого ты ждёшь, не презирает сокрушенного.

Грач долго стискивал свечку, требовательно взглядывался в огонь, а потом выдавил напряженно:

– Так это Руна – моя жертва? Огнич! Я же просил поддержки, а ты...

– Да не Руна! – прервала его Саламандра. Огонёк взметнулся свечи и яростно замигал. – Не Руна, а кое-что в тебе самом. – Воск потрескивал, пахло тёплым и сладким дымком. Ящерка взметнулась вверх по столбику фитилька, а фитилёк затрепещал и обломился. – Видишь? Ну, начни с малого. Ну, хотя бы... Вот как тебя теперь называть? По-прежнему Цветиком или по-новому Грачом?

– Да как захочешь... – Грач напрягся и втянул голову в плечи.

– Так значит, ты будешь Грачом, – Саламандра как будто отменила старое имя.

– И что теперь? – потребовал Грач. – Что я должен понять? Ах, да, про Златовида и буро́го волка.

Дух огня, глядя прямёхонько в небо, мерно покачивал головкой. Грач сунул руку за пазуху и выхватил письмо Златовида.

– А знаешь, Огнич, что я сделаю? А я вскрою письмо, и пойму всё, что нужно!

Саламандра сперва и вовсе не отвечала, а под конец заметила с равнодушием:

– Если хочешь, то вскрой. Поймёшь что-нибудь важное – позовёшь и расскажешь, – и так исчезла.

Грач задул пустой огонёк. Повертев письмо, нашёл восковую печать со вздыбившимся конём, расфыркался:

– Вот же показушник. Как же, он же теперь – Злат Плоскогорский.

Он подогрел печать над огнём и легко отодрал её от бумаги. На печати немного оплавилась задние ноги и хвост коня, да наплевать – не заметят. Грач развернул грамоту.

«Златовид Плоскогорский, наместник Гвездояра Смородинского – вождю стрелков досточтимому Вольху Всеславному, власть держащему на Пучае и Жаль-реке: радоваться, пребывать в добром здравии, и да сопутствуют тебе в боях – победы! Чёрную Грязь и Калинов Мост с боями пройдя, поднялся по Смородине до истоков и претерпел сурово под Шеломянем от племен лесного народа.

Ныне же, обосновавшись в мирном Плоскогорье у коневодов, я с тщанием и заботой наладил кузнечно-оружейное дело, что добрые плоскогорцы восприняли с радостью, свойственной их простосердечному нраву. С особой гордостью отписываю тебе, что есть среди коневодов не только верные и прилежные трудолюбцы, но и пламенеющие огнём сердца, давно в томлении ожидавшие твоего призыва и воинского клича, дабы, привстав в стременах, порадеть об очищении Рода Людского. Извещаю тебя, что не позднее как осенью приведу к тебе отряды конных и вооружённых плоскогорцев да в придачу боевых коней, коими буду снабжать тебя ежегодно.

Друга моего любезного шлю к тебе, Всеславный, с письмом, привет и береги его, а действуй по своему усмотрению. На цвет волос его не взирай – друг не мастью чист, но тем, что рядом вскормлен и рос подле.

Слава да не оставит тебя и да поможет тебе во властительстве!»

Почерк у Златовида скор и неразборчив. Еле дочитав, Грач свернул грамоту и прилепил ещё тёплую печать наместо. Пустые слова! Поставлять боевых коней ежегодно. Надо же такое пообещать. Как будто кони как цыплята из яиц вылупляются!

– Сиверко! Это что же, нас с тобой за тридевять земель с этой глупостью послали?

Грач помрачнел, нахмурился. Так неужели всё дело в том, чтобы спровадить его из Плоскогогорья подальше от Руны? Да нет же, на мелкую подлость Злат не способен. На большую – да, но не на мелкую. «Друга моего любезного шлю к тебе, Всеславный с письмом...»

– Сиверко! А на цвет волоса его не смотри – друг не мастью чист! Он рядом вскормлен и рос подле! Это не про меня, Сиверко, это про бурого волка. С ним и настоящее письмо.

Сиверко внимательно вслушался и опять тревожно, почти по-кобыльи, промычал, будто над жеребенком, да снова вытянул шею туда, куда умчался ещё чуемый им бурый волк.

Подраненный сокол кружил над степью... Сокол ли? Или это чужие мысли во сне кружатся... Подраненный сокол искал над курганами, где бы сесть и залечить пробитую грудь. Далеко внизу серой царапиной на коже тянулся по степи тракт.

По пыльному тракту бредут через степь толпы вооруженного люда. Ни цели, ни командования, ни пропитания. Толпы без прошлого, без будущего. Пыль волоклась за ними по обочинам тракта. Усталые ноги в сбитых подкованных сапогах передвигались всё тяжелее. Пыль садилась на потные лица, на опущенные плечи, на железо доспехов.

С шорохом взлетела с кургана журавлиная стая.

– Уххх... – просипел ратник. – Курганы неладные. Кто их насыпал. Брешут иль нет, что тута ратников заховали – годов с тыщу назад?

– Заткнись, Плахта. Без тебя тошно...

Казалось, что над курганами дрожит воздух. Да враки это. Воздух дрожал там – в пустыне за Степью. А здесь жар не тот. Просто глаза слабеют... Ратник щурился, напрягал зрение. Эх, кабы не джинн, что оглушил его тогда по шлему, видел бы и теперь как молодой.

Легкоконный отряд человек в десять или двенадцать плавно вытекал из-за кургана.

– Гляди, хто это там? – ратники брели, не останавливаясь.

Отряд подлетел, завился на месте, как пылевой смерч в пустыне. Всадники все молоды, почти мальчишки, а верховодит ими вожачок лет двадцати. Одеты славно, с иголки, как домашние. У вожачка жёлтый чуб из-под шапочки вьётся. Светлая кобылка так и гарцует, так и гарцует.

– Пряма Конёк, а не парень! – не сдержался ратник.

– Конёк? – звонко выкрикнул вожачок. – Ну, пусть так. Пусть Конёк. Вы, гляжу, полк Дубка Гвидоновича?

– Дубка мы к дубу прибили, – посмурнел ратник.

Конёк присвистнул. Заломил шапку.

– А сам-то кто, боец? И кто у вас за главного?

– Я-то – хто? Рядовой боец Плахта. У нас Окунец полковничает.

Конёк зорко-зорко оглядел ратников. Плащи, бечёвкой привязанные к остриям шлемов, чтобы мало-мальски защищать от солнца. Трофейные доспехи с замысловатой вязью пополам с пылью и ржавчиной. У многих дэвские мечи или сабли. Сразу видно, что ратничий полк из-за Степи вышел.

– Война-то шесть лет как кончилась. Где маялись? – тихо бросил с седла. Мрачно, всё понимающе – как своим.

Боец Плахта сбился с ноги, поднял голову.

– За Горами, – выговорил настороженно, – за Сорочинскими. Приказ был тамошних усмирять – и дэвов, и людей, кого придётся.

– Лихо досталось? – грамотно пожалел Конёк, и Плахта взвился как огонь:

– Подло, а не лихо! За Степью и то почётнее было! Продали нас, за спинами сторговались, начальство на мир пошло. За что тогда воевали? Эххх...

– Что? – не отставал Конёк.

Степь лежала от края и до края, куда ни повернись. Серая царапина тракта перерезала её. Полк с котомками за спинами и с поржавевшим оружием без цели брёл по степи.

– За то Дубка и казнили, – разговорился Плахта. – Пришли до него с бечевой. Он всё и понял. Руки ему скрутили, за шею удушили. Уже опосля мёртвого к дубу гвоздями приколотили. Чтоб всякая опричнина это видела! Окунца выбрали...

Их побоялось распустить по домам Братство. Отправило подавлять бунт. Теперь им уже новая власть не доверяет. Сборище вооружённого народа бесцельно бредёт по степи.

– Где Окунец-то ваш? – Конёк мотнул жёлтым чубчиком.

Под вечер Конёк, поднявшись на курган, мог видеть, как пешее войско развёртывается с маршевого перехода на ночлег. Дозорный полк, за ним сторожевой, за ним передовой. Как двигались по степному тракту, так теперь и рассаживались. Камнемётный полк, левой руки, большой, полк осадных башен, правой руки, тыловой. Кто шёл впереди, тот садился ближе к тракту – им раньше выступать. Дальше – запасный полк, кухня, хозяйство. Жёны и дети-полукровки.

Конёк поёжился: там были сотни чумазых детей-полукровок. Там же плелись за войском их мамыши – пери, дэвии, джиннии, то ли пленные, то ли прибившиеся ради пропитания. Нечисть. Стало темнеть, загорелись костры. Ратники ложились на землю. Кое-кто собирал шалаш из веток кустарника и плаща – на случай дождя. Вылинявшие палатки были лишь у начальства. Где там Окунец-то их? Во-он, белая палатка в становище большого полка.

Окунец оказался толстым и измученным служакой. Пояс с трудом сходился на брюхе, а нестиранная рубаха трещала по швам. А ещё – рыхлые щёки и застывшая в глазах тоска пополам с ужасом. Вечный заместитель. Он и не рад, что войсковые выборы повелели ему «полковничать». Впускать к нему Конька охрана не хотела, но Конёк назвался посланцем, и те впустили. Либо поняли, либо догадались, кто он и от кого.

В палатке было сыро и пахло сопревшим войлоком. Чадил огонь в переносной лампе. У Окунца сидели ещё трое. Разговаривали. Окунец упрямылся. Одного из трёх Конёк признал: это Ставр, такой же, как он, посланец, но от других управителей. У Ставра короткая стрижка, борода и нос с горбинкой. Кажется, он – буянец, у него характерный раскатистый выговор. Конёк после каторги ненавидел, но вынужденно терпел буянцев.

– Триградье даже и не вспомнит никакого Дубка Гвидоновича, уверяю тебя, – успокаивал Окунца ровненьким голосом Ставр. – Не важно, выборный ты или приказный. Тебя оставят на должности. Триградье не вспомнит воинских... гм... нарушений, совершённых полком за Горами. Бойцам будет объявлено прощение и забвение обид.

– Прощение? – ахнул Окунец. – Да за что прощение-то? Бойцы делали то, что им говорили.

– Вот-вот-вот, – улыбался Ставр. – Так и будет записано в судебных постановлениях. Вас разместят в закрытых воинских поселениях. Вы понимаете: с падением прежней власти стали твориться бесчинства и беспорядки, поэтому Триградье не может распустить вас немедленно. С вами останутся ваши приобретённые... гм... жены. И дети. Конечно, придётся пройти дознание, нет ли среди них соглядатаев.

– Среди детей, да? – возмутился Окунец. – Это что – опять опричнина?

– Нет, и как полномочный посланец трёх городов-побратимов – Вадимля, Калинова Моста и Карачара – уверяю, что карательных мер больше не будет.

– Полк больше не пойдёт в поселение, – уверенно сказал Окунец. – Так уже было, когда мы пришли из-за Степи.

Из тени высунулся другой посланец, постарше и поугрюмей. Конёк нахмурился: где-то и с ним пересекались пути. Никак не мог вспомнить имя.

– Ты меня послушай, Окунец-воевода, – заговорил он. – Не будет тебе ни поселений, ни опричнины. Я размещу воинов в Шеломяньских сёлах, где вы станете вольными хлебопашцами, готовыми, если надо, подняться с оружием в руках. А ты, Окунец, сможешь считаться их Писарем...

– Не слушай его! – горячась, перебил Ставр. – Это Годин из Шеломяня. Они у себя Братство восстанавливают...

– Да, Братство! Но без Опричнины, – отрезал Годин. – В этом клянусь!

Конёк хохотнул, и его заметили, третий посланец потянулся к нему из тени на свет, сверля его глазами. У третьего посланца запавшие глаза и крючковатый нос. Конёк силился узнать его и вспомнить имя – это даст преимущество в разговоре. Не узнавал. А время уходило.

– Поклон вам от Вольги Всеславича! – Конёк опередил события. Годин и Ставр вздрогнули. Окунец нахмурился. Третий посланец сощурился и вытянул шею:

– Это ты?... Что ли?... – голос у него тихий и противно сиплый. Конёк неуютно повёл плечами и поправил затейливую шапочку, выпуская клочок отросших жёлтых волос.

– Ну я, – признался. Он вспомнил посланца: это Вышезслав, первый ушкуйник реки Пучая и самый жестокий из речных воров.

– Вольга-то твой на Смородине... работает. А здесь у нас Пучай-батюшка ближе, – просипел Вышез, вольный хозяин реки Пучая. – К вольным удалцам всякий пойдёт. Охочии люди в полку всяко найдутся. У нас сытно, славно. Кораблей на реке много, купцов немеренно, да еще – караваны со Святых Гор с рудой и золотом.

Молодой Ставр засуетился, подсел ближе к старому Годину, заёрзал:

– Это воры, это просто воры. Тати, ушкуйники. Годинушка, – зашептал он, – если мы с тобой не объединимся, то все войска к ним утекут. К вору этому, к каторжникам.

Вот тут-то, в это самое мгновение, Конёк впервые в жизни услышал, как где-то далеко-далеко хлопнул будто бы пастушеский бич. Громко хлопнул, раскатисто, как гром. Да и не в селе хлопнул, не в степи и не за курганами, а словно прямо в тучах на небе. Конёк осторожно склонил на бок голову. Прислушался. Звук больше не повторился. Только посланец Годин вдруг забормотал себе под нос:

– Ох, Долюшка-Судьбинушка, обойди бедой...

«Ратничья молитва! – Конёк задохнулся. – Вот оно что! Они все здесь – ратники», – он и не ведал, что братский наставник Годин тоже отслужил своё за Степью. Конёк приосанился. Он выиграл. Вышезслав даже не понял, где и когда он проиграл.

– Нет, батька Вышез, не пойдут они к тебе. А к Вольге, вольному лучнику, согласятся. Вольга не ушкуйник. Он – воин. Он к себе бойцов зовёт, чтобы боец был в почёте, а не в презрении и забвении. У Вольги всякий ратник своему клинку применение отыщет.

Тут толстый Окунец хлопнул кулаком по чурбану, что заменял стол, и вскочил на ноги, грузно и отдуваясь:

– Что, опять воевать? – ахнул визгливо, как баба. – Хватит! Навоевались! Все вон отсюда. Домой мои полки пойдут. Домой! По сёлам, где прежде жили.

Конёк ослабился, как мелкий зверёныш, хохотнул и выскочил. Из палатки Окунца уходили посланцы.

Поздно вечером, когда стемнело и иного света помимо костра и звёзд не было, Конёк сидел у огня с ратниками. С бойцом Плахтой. С бойцами Отпором, Жадятой, Судимом.

– А у Вольги ветер как здесь в бока не дует. У Вольги вокруг стана – тын деревянный. Ветру не разгуляться. Тепло. Дров довольно.

– На ратном поселении, стало быть... – с недоверием тянул Плахта.

– На каком поселении, если вход и выход свободные? Не-ет. У Вольги Всеславича бойцы довольные, сытые. Крупа сечная есть, солонина, опять же рыба – река-то ведь рядом.

– Да кто ж признается, что на поселении голодуют...

– Заладил своё – на поселении да на поселении... Ты глянь на себя, потом на меня – как я одет? Вольге Всеславичу купцы содержание приносят. Потому как уважают его и боятся, понятно? Богачи по всей Смородине ему почёт выказывают. Сам видел.

– Чего видывал-то? – голодные ратники подняли головы.

– Купчина у него под окнами со слезами молил: «Возьми, – говорит, – шубу горностаеву. К чему она мне теперь?» Ей-же ей, Судьба-Доля, со слезами молил! – побожился Конёк. – Хвост богачам Вольга сильно прижал. Вот потому и со слезами. «А мне, – отвечает, – твоя шубёнка без надобности. До ветру в ней ходить, разве что!» – и швырь её мне в оконце... Я же при Вольге служу, говорил я, нет? «Отдай, – велит, – тому бойцу, кому больше всех надобна». Я и отдал.

– Врешь ты всё... – разуверились бойцы.

Зашелестел на ветру ковыль по степи. Вдалеке маячил курган, луна нетвёрдо бросила белёсое пятно ему на макушку. Сероватые тучи без очертаний нечётко плыли во тьме по небу и час от часу скрадывали звёзды.

– Конечно, вру... – повинился Конёк и повесил голову. – Трудно ему, Вольге-лучнику. Помощь теперь нужна, – Конёк тяжело вздохнул. Ветер зашевелил ему, мальчишке, жёлтые волосы.

У старого Плахты сжалось сердце. Такие же вот, неоперёныши, умирали у него на руках за проклятой Степью. Тяжело умирали, некоторые вот также перед смертью ввали, хорохорились...

– Чего он хочет-то, Вольха твой? – выговорил.

– А хочет, чтобы тебя, ратника Плахту, люди ценили, уважали. Старые начальники-то ценили вас, ратников?

– Это при Дубке-то? Хххаа... – задохнулись смешком ратники.

Конёк поднял голову и сквозь задиристый жёлтый чуб посмотрел на плывущие над облаками звёзды. Или это облака под ними плывут? Кто ж теперь разберёт...

– Как, говорите, Дубка-то вашего казнили?...

Вот тут второй раз где-то между облаками и звёздами грохнул пастушеский бич. Конёк подскочил. Ратники вздрогнули. Звук удара бича раскатисто поплыл над землёй, хотя эху не отчего было в степи отражаться.

– Ой, Волченька кнутиком бьёт, – тихонько запричитал Плахта. – Перед той войной также было: волки целыми ордами без всякого разбою бегали. Ни коз, ни овец не резали – всё туда бежали, на будущую войну, на поживу. Набольший Волк их туда кличет.

– Да не волк это, – опомнился Конёк. – Вольга вас к себе зовёт.

– Вольха, Вольха... Что он нам.

– Вольга волю даёт.

– Во-олю... Какую же волю, которую?

– Волю, – голос у Конька посуровел. Железишко в нём появилось. – Волю от начальства, от властей и от себя самого.

...В ту ночь, под самое утро, выборный воевода Окунец пробудился от шороха и голосов за пологом палатки. Пришедшие не таились, хотя действовали без лишнего шума. Окунец подхватил меч... но какая-то безнадёга сковала его и внушила отложить бесполезное теперь оружие. Предыдущий-то, говорят, тоже не сопротивлялся...

Окунец откинул полог и вышел в серебристый холод. Под звёздами стояли ратники. Одного Окунец вспомнил. Это рядовой боец Плахта, самый примерный и надёжный в полку. Плахта сузил глаза и сжал губы. Руками он пружинисто натягивал, пробуя на прочность, бечёвку.

– До... ..шка-Судь... – Окунец шевельнул губами и сам протянул Плахте руки.

Сзади ему набросили на шею удавку. Откинувшись, Окунец только и успел разглядеть, что лихой жёлтый чуб да усмешку-оскал.

Где-то между облаками и звёздами выли волки. Погонщик гнал их туда, куда только сам ведал.

Сон или явь? Чья-то был? Уже не легкокрылые кони скачут. Бурые волки мчатся по лесам и степям...

Вот и редкие дубравы закончились. Даже ельник с осинником остались далеко за спиной. Чаще попадалась ольха, раkitник и слащаво опрятные берёзовые рощи. Берёза – дерево не местное, пришлое. Издревле здесь росли только дубравы да ельники, но потом лесной народ привёл из полуденных стран прирученные им странные деревья с белой корой. Наверное, люди когда-нибудь и к ним привыкнут, и даже полюбят...

А пока Грач ехал по березнячку, не то чтобы посвистывая, но всё же подвывая себе под нос бодрящую песенку. Где-то здесь должна уже скоро показаться река Молочная. Грач за дорогой почти не следил, а больше положился на Сиверко, рассчитывая, что дорогу к реке конь теперь и сам найдёт. Сиверко не напился вдоволь со вчерашнего дня, лишь пожевал траву с росой, поэтому воду отыщет быстрее человека. А там, на реке, Грач и определится, ехать ли ему вдоль берега вниз по течению до переправы либо переправляться на другую сторону немедленно.

Хорошо бы спросить потом у кого-нибудь, как за переправой выйти к Жаль-реке, да притом к левому её берегу, чтобы попасть к вилам, в их селения, а не куда-то ещё... Про Вольха и про стрелков ему лучше не говорить до поры до времени.

«Вот, зачем, скажите на милость, Злату гнать меня в такую даль? Может, и нет никакого второго письма? Может, я что-то насочинял? Да полно! Не приснился же мне бурый волк! Да и стрелки меня до самых обрывов провожали. Будто следили. А тут ещё Асень что-то собирался сказать, да передумал. Хотя, с чего бы самому Асеню со мной разговаривать? Ишь, разбежался...»

– Разбежался, Сиверко, тпр-ру! – он натянул повод, сдерживая жеребца, рванувшегося вскачь оттого, что почуял впереди воду.

Конь всегда чует воду раньше человека! Слух у лошади острее даже кошачьего, а нюх тоньше собачьего. Скоро и Грач, наконец, услышал, как журчит под берёзами Молочная река. У воды Грач спешил, но жеребчика сурово оттащил прочь:

– Да ты погоди, напьёшься ещё! Вытерпи, остынь сначала. А то нёсся как угорелый, разгорячился мне тут.

Напоив, наконец, остывшего коня, Грач, глядя на реку, потянулся, будто раздумывая, потом быстро разделся догола и бултыхнулся в воду.

– Ух ты, она же тё-опла-ая! Эй, Сиверко, брось! Потом пожуёшь травку. Иди-ка сюда! Да леший с ним, с седлом-то! Высохнет, не пропадёт.

Сиверко не пошёл. Только укоризненно храпнул, дорожа сбруей.

– Ну и зря, жадина! Хозяйское добро жалеешь, – Грач оттолкнулся от дна, поплыл. Ой, как же здорово... Вода в Молочной реке студёная, да ласковая. Она то обнимала и ласкала его, будто до любви охочая, то остужала, будто гнала от себя.

Вдоволь наборовшись с водой, стал он было выползать на карачках на мелководье, как тут нечто огромное, скользкое нырнуло под него, подсекло, и Грач плюхнулся всем телом на здоровенную рыбину, придавил её к мелкому дну животом и грудью. Рыба затрепыхалась, разбрыз-

гивая воду с песком и илом. Грач ухватил её рукой, казалось бы, удачно – под самые жабры, но рыбина так отчаянно вырывалась всей тушей, что он едва её не выпустил.

Рывком перевалился набок, жестче стиснул пальцы на жабрах, давя своей тяжестью рыбу и зарывая её в донный песок. Вскинул другую руку, ища хоть за что-нибудь уцепиться, чтобы вытащить на берег себя и рыбу. Но та яростно забила хвостом, плеща по его спине и бокам, и стала выскользывать.

– Сиверко, да помоги же, не стой истуканом!

Жеребчик меланхолично глядел на хозяина, потряхивая уздечкой и гривой. Грач изо всей силы потянулся, только бы достать, дотянуться до одежды, до пояса... ох!... а там, на поясе... ох!... его нож. Кончиками пальцев он подцепил нож... Схватил, ударил! Рыбина трепыхнулась, окрашивая воду красным. Ударил ещё – теперь прямо за жабрами. Застыла, замерла. Обессиленный, он выпихнул рыбу на берег и сам кое-как вылез.

– Ой, что же я едва не натворил-то, дурак, – вдруг запричитал он. – Я же мог сам себя – ножом-то. Я ведь лежал на ней – животом и грудью. Я ведь самому себе ножом под бок бил...

Сиверко тихонько заржал, соглашаясь.

– А ты что? Ещё смеёшься! Я же просил помочь. Теперь, вот, рыбу стану печь, а тебе не дам ни кусочка!

Он скоро развёл огонь, взялся запекать рыбину прямо в чешуе, непотрошённую. Когда она испеклась, дразня ему ноздри, Грач отломил лишь кусок, а остальное спрятал на завтра. Потом он лежал и молча глядел в небо. А вдруг Сиверко заворочался и фыркнул, тихонько заржал. Настороженно вытянул шею и точно ощупал губами воздух.

– Отстань, слышишь меня? – отнекивался осоловевший Грач. – Лошади не едят рыбу.

Жеребец настаивал. Он даже топнул ногой и опять зафыркал. Грач неохотно поднялся.

– Твоя взяла. Пора и ехать.

Он стал натягивать штаны. Потом рубаху. Потом укладывать в сумку с печёной рыбой. А конь весь извёлся, не выдержал, протяжно заржал и забил копытами.

– Иду я, иду, – стал раздражаться Грач. Закрепил у седла сумку, поднялся на Сиверко... и ахнул.

В полуполёте стрелы маячила бурая волчья спина. Бурой тенью волк скользил по-над косогорами, а рыскающий его бег был плавен и, кажется, уверен. Будто мчался он по берегу Молочной реки – всё вниз и вниз, вдоль течения – с какой-то чётко обозначенной целью.

– Так пошёл же, пошёл! – закричал Грач, распаяясь.

Разъярившийся конь с места рванулся вскачь. Грач нахлестывал его руками и подгонял сапогами. Волчья спина приближалась. Уже стали различимы подпалины на бурых его боках.

Волк был в ошейнике, а к ошейнику накрепко привязан долгий и тугий свёрток. Внезапно бурый волк отпрыгнул. Прочь от воды, прочь от берега – туда, где рытвины и ухабы. Волк перемахнёт их легко, не замешкав, а погоня собьётся со скока.

– Уходит! Уходит! – Грач загикал, тоже беря в сторону, влево, прочь от берега.

Опершись на луку седла коленями, он весь подался вперёд, к самой шее коня, чтобы разгрузить ему задние ноги.

– Давай-давай-давай! – обезумев от скачки, завизжал Грач.

Волк нёсся впереди, и Сиверко перемахивал ухабы и рытвины. Грач приподнимался в стремях, чтобы не подскакивать в седле и тяжестью своей не вредить коню позвоночник. Ещё бы чуток, ещё бы один шаг, ещё пол шага – и волка можно будет коснуться носком сапога.

Тут волк на бегу вывернул шею, оскалил пасть и угрожающе рывкнул. Сиверко шараясь – Грач еле усидел в седле, едва не вывалился. Жеребчик, струхнув, припал на задние ноги, засуетился, заплясал на месте. А волк остановился, волк встал. Волк был холоден и равнодушен.

Зарвавшийся охотник только теперь понял, что против волчьих клыков он – безоружен. Волк был огромен. Шерсть на его загривке начала медленно подниматься. Сиверко, захрапав, попятился. Еле сдерживаемый Грачом, он закружил на месте, кося назад тёмным глазом, и заспешил мелкой рысцой в сторону. Волк подобрался, в два скока пересёк коню путь и снова замер. Занял стойку, оскалился и зарычал – глухо, угрюмо, протяжно, не сводя жёлтых глаз со всадника.

У Грача похолодели коленки. Волк... это, всё-таки, волк. Он будто не из этого мира. Он будто потусторонен.

«Ты лучше не подходи, – сказали жёлтые волчьи глаза. – Ты – человек, ты мне чужой. Стена, глухая стена между нами. Ты от огня, от печки, из дому. А я – от стужи, от ночи, из лесу. Не зли меня. Если можешь, уйди своей дорогой».

– А п-пошел ты... – Грач клацнул зубами, прикусив язык. – Пошел... со своим письмом, со Златовидом и с самим Вольхом, – он силился храбриться, а сам ощупывал повод, чтобы проскакать мимо волка тихо-тихо... куда же? А хоть бы и домой.

Здесь бурый волк ошетинился. По широкой его спине пробежала волна шерсти. Не сводя глаз с человека, волк обошёл его по кругу – Грач лишь как филин крутил шеей, следя за волком, – встал позади, в трёх скоках коня, и утробно рявкнул, чавкая пастью.

Сиверко взлетел на дыбы и понёсся, не разбирая дороги, вперёд и вперёд спасти свою драгоценную разномастную шкуру.

Вскоре до Грача дошло, что волк погнался не как попало, а всё по той же прежней дороге: вдоль берега, вниз по Молочной реке. Путь домой был как будто отрезан. Спустя час времени оба они – конь и всадник – успокоились. Волк остался далеко позади. Сиверко уже не спешил, брёл медленным шагом. Река с шелестом бежала вперёд, щекоча илистый берег.

Волшебное марево алело в воздухе. Маревое вечерней зари, когда солнце, словно истомившись за день, изливает оставшуюся негу на белый свет. Белый свет поначалу розовеет, а после алеет. Алеет всё небо, пунцовеют облака и стыдливо прикрывают тайну заката. В алом свете окрашиваются зарей и светятся красотой вечернего неба воды Молочной реки. Зачарованный глядел Грач, боясь вздохнуть и прошепелеть веткой, чтобы не потревожить закатную негу. Скрытый тяжелыми и густыми ветвями глядел он и видел перед собой чуждое – будто неземное – видение.

Она была обнажена. Свет заката и ручейки влаги струились по её плечам и груди. Она зачерпывала речную воду, вздымала руки к пламенеющему небу, и струи ниспадали ей на волосы, плечи и спину. Русалка кружилась, запрокинув к облакам голову и заламывая поднятые руки. Она то погружалась в червлёные воды, то восставала из них – воздушная, хрупкая. Тонкие руки омывали ей лицо, грудь, волнуяще пробегали по животу и с нежностью сбегали на стройные бёдра.

Она кружится на песке. Только что она плескалась в водах, а теперь воды плещутся одни, рядом. Освещённая алым закатом, она кружится на влажном песке не в самозабвении, а медленно и в сладкой истоме – так, что околдовывает всё вокруг чарующей своей негой. Она легка и невесома. Грачу мнится, будто в шелесте речных вод и в шорохе чуждого танца русалки слышит он неведомую музыку заката. Волшебная музыка танца и речного прибоя окутала его и проникла ему внутрь, в душу и сердце, заставляя его трепетать и сдерживать взволнованное дыхание.

На мгновение, всего на одно мгновение, русалка взглянула – и словно увидела его, скрытого зарослями, улыбнулась ему и исчезла, скрывшись в водах, в закате, в музыке, в истоме и неге.

Грач стоит, поражённый, он всё еще слышит в ушах дивную музыку. Ему чудится, что сейчас, в этот миг ушло от него навсегда что-то старое, а сам он вступил в жизнь новую и до той поры неизведанную.

Глава III

По утру, едва поднялось солнце, Грач тронулся в путь. Он немного дрожал от холодной росы и порою прикусывал губы. Своего Сиверко он пустил шагом вдоль берега – по самой кромке мокрого песка, где прибой каждые пару шагов заливал жеребчику копыта, и тот, довольно фыркая, мотал головой.

Там, где вчера танцевала русалка, Грач не нашёл никаких следов. То ли речка, расшавшись, их смыла, то ли ленивая роса их сгладила. Грач не спешил, он шурился от слепящего солнца и из-под ладони вглядывался: нет ли впереди хоть кого-либо. Ведь, кажется, кто-то сидел, вон там, на берегу, у самой воды, – не русалка ли это, не вчерашнее ли видение?

Приблизился... Нет, это не игра света, бьющего прямо в глаза до полной слепоты. Действительно, возле воды, приткнувшись в мокрый песок коленями, она сидела и смотрела на реку. Грач видел её вчера в свечении заката, в розово-солнечном мареве, а сегодня глядел против солнца, против сверкающих на воде искр. Вот: она чуть-чуть повернула голову. У неё тонкие, будто точёные, черты, и взгляд – такой нездешний, словно отсутствующий. Только маленькие влажные губы слегка подрагивают – будто она сама с собой разговаривает.

Он не знал, что произойдёт: исчезнет ли она или бросится в воду? Он туго подобрал повод, чтобы конь не разыгрался и не своевольничал. Русалка обернулась, вскочила... и вдруг улыбнулась точь-в-точь как вчера вечером. Плечи и колени русалки были обнажены. Тонкая светло-зелёная рубашка без пояса заиграла вдруг светом и тенью, как рябь на воде. Грач почему-то смутился.

Грач близко-близко подъехал и натянутым поводом жёстко сдержал Сиверко. Конь замер как вкопанный. Грач как будто ощутил, что у коня ноги налились свинцом. Сиверко, застыв, косил глазом и раздувал ноздри – чуял нечеловека. Русалка улыбалась, доверчиво глядя на всадника снизу вверх.

– Я... – попытался сказать Грач.

Глаза у неё были светло-синие, а волосы – чёрные. Волосы совсем гладкие, без волны, и влажные, как всегда у русалок. Странно, они не опущены до пояса, а обрезаны точно по обнажённым плечам.

– Я, – он, наконец, выговорил, – кажется, видел тебя вчера. Ты танцевала на берегу. Вон там, – он неопределенно качнул головой куда-то назад, словно в прошлое.

Русалка тихо засмеялась.

– А я почувствовала, что кто-то был, но тебя не видела, – голос оказался звонким, а речь приветливой. – Я провожала закат на Млечной. Это всегда красиво.

– На Млечной? – Грач повторил, ему понравилось это слово. – На Млечной.

– По-вашему, река – Молочная, по-нашему, Млечная. А я – Млейша.

Русалка улыбалась, её глаза блестели как капельки росы.

– Правда? А я – Грач...

– Грач? – она удивилась. – Это, кажется, птица. Ваша, человеческая. Ты – оборотень?

– Нет, это лишь прозвище, – Грач с облегчением рассмеялся и, стараясь не испугать русалку, слез с коня прямо на мокрый песок. – Прозвище, – он повторил. – Зовут по-другому, но... это теперь не важно.

– Ты на коне, как человек, но ты, кажется, не совсем человек. Да?

– Почему это? – Грач удивился, но вспомнил про чернявые свои волосы и провёл по ним рукой. – Поэтому, да?

– Человек же всегда рыжий, – заметила, оправдываясь, русалка. – Редко-редко тёмно-каштановый или жёлтый, как солома. Фу, я не люблю запах соломы! Он слишком ваш, человеческий.

- Это у мамы были чёрные волосы, – объяснил Грач. – Она была птица-вила.
- Птица? Ух ты, я никогда не видела, как оборачиваются в птиц. Так ты умеешь летать?
- Нет! – Грач замотал головой. – Хотя из дома-то улетел далеко.
- М-м, – русалка приняла к сведению и внимательно оглядела коня и конскую сбрую. –

В кого ты тогда оборачиваешься – в коня, что ли? Или в серого волка?

- Ни в кого, о чём ты! – Грач опешил.
- Но ведь ты – оборотень! – она широко раскрыла глаза. – Разве нет?

– Ну... в некотором смысле, – Грач замялся, «оборотнем» зовут человека в той мере, в какой он сам зовёт остальной Род Людской «нечистью». – А что, где-то рядом есть ваш посёлок? – он не нашёлся, что ей ответить.

- Да, рядом. Только подальше. А ты туда едешь?
- Туда и ещё дальше... Хочешь, тебя подвезу, Млейша? Садись!

– Нет! – Млейша отступила на шаг. – Я коня боюсь. Да и конь меня не примет. Мне по воде быстрее, речка меня любит, – она скользнула по мокрому песку, оттолкнулась босой ногой и без всплеска нырнула. Из реки высунулась, махнула над головой рукой, словно позвала догонять.

Грач помахал ей в ответ.

«Посёлок, значит. Но чуть подальше», – он поторопил Сиверко, подогнал его. Захотелось обогнать, опередить русалку.

Деревья подходили к самой воде. Отсюда они закрывали обзор всаднику, и что лежало впереди – не понятно. Внезапно деревья словно отбежали от берега на сотню шагов, и открылся посёлок. Сиверко опять застыл на его краю, не переступая незримую межу. Домишки тут и там рассыпались по бережку. Не домишки, а так – землянки из травы да хижины из тонких брёвнышек. Крыши покрыты травой – исключительно зелёной и свежей, русалки не переносят, когда пахнет соломой.

Донёлся смех и шлепки мокрого белья по воде. Русалки мыли в реке льняные холсты.

– Ах, какой молодой человек к нам едет, – старательно не спеша, повернула голову одна, самая юная.

Русалки прыснули в ладони. Грач тихонько запустил пальцы в гриву жеребчику и прошептал:

- Ты подойди к ним, Сиверко, но только вежливо. Не напугай их.

Сиверко с трудом переступил с ноги на ногу.

- А конёк-то под ним – загляденье!
- Не разберёшь сразу-то, кто из двоих краше!

Русалки, щечбеча, обступили его, не дали спешиться. Все они ловкие, вёрткие, так и вьются около него. На простых девушек чем-то непохожи. Лица, что ль, тоньше, кожа светлее? Волосы у них тёмные, как у него самого, но влажные и чаще всего длинные. А одеты как Млейша, в сарафаны-рубашки – то жёлтые, то зелёные, то белые и расшитые листьями с кувшинками. Вот – окружили приезжего, хихикают, разглядывают с головы до ног. Точнее сказать – с головы всадника до конских ног разглядывают.

«Вот же, чем они не похожи на простых девушек, – понял Грач. – Взглядами». – Взгляд у русалки своеобразный, без полутонов – либо чувственный, почти шальной, либо отстраненный, загадочно затуманенный.

– Ой, здравствуйте, красавицы, – Грач, всё-таки, спешился, с удивлением про себя отмечая, что не робеет и не тушует от их внимания.

Знакомая русалка Млейша стояла здесь же, недалеко, и, чуть улыбаясь, расчёсывала гребнем мокрые волосы.

– Надо же какой – человек, а черноволосенький, – заигрывая, пропела другая русалка, совсем юная, почти подросток, лет будто бы тринадцати-четырнадцати, но с невероятно длинными, много ниже поясицы, ровными волосами. – А далеко такой человек едет?

– Едет, пока не остановят, – Грач отшутился. – Вот, гляжу, уже остановили!

– Как такого не остановить! – захихикали, перебивая друг дружку, русалки. – Один зверь-то у тебя вон, какой красавчик. Как зовут зверя?

– Это не зверь, а конь, – Грач покровительственно глянул на жеребчика, – а зовут Сиверко!

– Сиверко! В кого же он такой пёстренький? – подначивали русалки, но не решались подойти к коню и держались шагах в двух или трёх.

– Неужто не знаете? – Грач усмехнулся. – В Сивку-Бурку вещую Каурку.

Девчонки тоненько и старательно засмеялись – сказка про Сивку была человеческой, наверное, они её не слышали.

– А когда он превратится, то какой будет? – настаивали. – Чёрненький или беленький? Мне беленькие нравятся.

– То есть как – когда превратится? – растерялся Грач.

– Ну, это ведь братец твой или товарищ. Вы по очереди конём обращаетесь и так друг на друге едете.

Грач растянул губы в улыбку, хищно показал зубы и ответил:

– А у нас говорят, что у русалки вместо ног рыбий хвост. Правда ли?

Русалки прыснули, захихикали. Особенно залилась та, малолетняя:

– Ой, Млейша, обманула ты нас, – она стрельнула шальными глазками. – Это не вилин сынок, а наш братец, русалочий! Ох, как он мне нравится, ох, вот я ему покажу, что правда, а что нет, – она, вызываясь разметав волосы, на шаг подошла к Грачу, старательно повела бёдрами – и совсем нечаянно задела нагим плечиком губы Сиверко.

Вытаращив кровавый глаз, конь взвился свечой, заржал и шархнул в бок. Девчонки, хохоча, бросились врассыпную. Сиверко грохнул копытами оземь, заплясал, вздрагивая и всхрапывая. Его губы и ноздри дрожали.

– Стой, Сиверко, стой! – Грач ловил его за узду, а русалки на безопасном расстоянии давились от хохота:

– Не-а, не наш братец-то, не наш! Ух ты, какую зверюку приручил, а сам не боится! – посмеявшись, подошли ближе, ещё икая со смеху. Та, что с волосами ниже поясицы, вышла вперёд.

– Я – Умила, – назвалась русалка-подросток и нарочно мотнула головой так, чтоб перекинуть на маленькую грудь роскошные волосы.

– Это-то я догадался, – Грач, наконец-то, словил за узду Сиверко. – Умилиться можно от такой непосредственности, – пробормотал он.

– Сам-то откуда, чёрненький? – пропела Умила.

– С Плоскогорья, коневод я, понятно? – Грач никак не мог прийти в себя и трепал Сиверко по гриве, успокаивал себя и его.

– С Плоскогорья? – заволновались русалки. – Млейша, ты слышишь? Он же в Карачар едет! За помощью, девчонки, за помощью! Ой, чёрненький, мы так давно ждём тебя.

– Что?

Грач растерялся. Видно, что его принимали за другого. В Карачар-то бегут из Плоскогорья тогда, когда военная помощь требуется.

– Да нет, девушки, я еду на Жаль-реку. В самые низовья. К лесным вилам, где мать жила. Дело у меня есть.

– Но ведь там, на Жаль-реке, – тихо ахнула одна русалочка, очень молоденькая, – там же стрелки.

– Чёрненький, – похолодев, позвала Умила. – А ты, часом, не из них будешь?

– Я? Нет, – Грач помотал головой и снова вдруг ощутил старый свой стыд и за чёрные волосы, и за изгойство. – Я не стрелок, – пробормотал он, – я сам по себе еду. Я по делам, – солгал он, краснея.

Русалочки понимающие покивали головками и неспешно одна за другой разошлись. Никого не осталось. Только Млейша, утренняя его знакомая, да эта длинноволосая Умила тут задержались.

– Мы подумали, что ты гонец, – сочувствуя, проговорила Млейша. – Жаль! – и добавила ласково, будто за подруг извинилась: – У нас стрелков очень боятся. Ждём, когда кто-нибудь в Карачар весть подаст, чтобы за нас заступились.

– С кем ты разговариваешь, Млейша! – выкрикнула Умила. – Мужики пошли, что и защитить нас, красавиц, уже не кому. Водяные толстобрюхие в болота ушли, лесовики патлатые в чащах попрятались. Беззащитные мы, – Умила притворно всплакнула. – Самим за сабли браться? Русалочий конь известный – сом с большим усом. Каково это будет, Грачик? У-у-у, водяная конница! – Умила закатилась со смеху и, хохоча, присела. Потом спокойненько закинула за спину волосы и уставилась на него шальными глазами.

Грачу нестерпимо захотелось, чтобы налетела буря и ударила молния. Тогда все вздрогнули бы и позабыли о нём.

– Эй? Чёрненький? – снова завела Умила с нежной издёвочкой в голосе. – А ты, миленький, не лазутчик, а? – она подошла, так что повеяло водорослями, и ухватила его за пуговицу. – Выведываешь, где речные сокровища попрятаны? Да вот же они!

Она с усмешкой прогнулась назад, натягивая ткань сарафана. Крохотные грудки, гибкая талия, кругленькие бёдра – всё проступило с такой откровенностью, что у Грача дыхание перехватило.

– Оставь его, Умила! – обиженно крикнула Млейша.

– Ой, да на здоровье! – вредно улыбнулась девчонка и удалилась, помахивая волосами, падающими на крепенькие бёдра.

– Малолетка, – процедил Грач.

– Не сердись на неё, – сказала вдруг Млейша. – Умила не просто русалка, она – мавка. Мавки только с виду такие – как подростки. Умила старше меня, Грач.

Неловко помолчали.

– А ты... надолго? – решила Млейша.

Грач пожал плечами.

– Можешь... у меня остановиться. Припасы-то в дорогу хочешь собрать? – придумала Млейша.

Грач кивнул.

Русалочий домик пристроился на самом берегу реки. Не домик даже – хижинка, где пучками травы заткнуты щели. Грач поначалу не нашёл двери. Она оказалась с другой стороны – с той, где речная вода, шелестя, заливала порожек.

– Мне следовало сказать: повернись к реке задом, ко мне передом? – пошутил Грач, стараясь не замочить ноги.

Млейша прыснула – русалки вообще народ смешливый.

– А воды не надо бояться, она быстро высыхает.

Внутри домик оказался едва ли не меньше, чем снаружи. Тесная клетушка, топчанчик в углу, набитый речными водорослями – ноздри слегка щекотал их пресноватый запах. Ещё – две лавочки у стенки да небрежно брошенный на них жёлтый сарафанчик.

Шустрой змейкой Млейша заскочила вперёд, подхватила сарафанчик, куда-то запрятала и, прыснув в ладошку, выскочила вон. Вот, только дверь на петлях болтается да круги по воде побежали. Грач проводил взглядом русалку: спасибо за гостеприимство.

Целый день, стоило высунуть из домика нос, как русалки одолевали Грача озорством и шутками:

– Эй, чёрненький! Сокровища ищешь? Бери нас – мы ту-у-ут!

Русалки покатывались со смеху, маняще закатывали глаза и глубоко вздыхали так, что сарафаны на их грудках дразняще натягивались – вот-вот прорвутся. Хоть из дома не выходи! Да на беду привязанный неподалеку Сиверко что ни дело фыркал и утробно ржал. Грач унимал его и злился, не понимая, что так ему досаждают. Жеребчик что-то чувствовал в русалках, это тревожило его домашнюю природу, а что – сказать он не мог. Другие они, эти русалки, не такие как люди, на них даже комары не садятся – и Грач с яростью дважды шлёпнул себя по щекам.

Невольно он проводил взглядом пару русалок, выскочивших из воды в прозрачных, льну-щих к мокрому телу рубашках. Ни холода от реки, ни сырости они не ощущают. Носятся себе на ветру как угорелые. Все шутки их, все дразнилки – какие-то беззлобные и словно растерянные. Будто лучик солнышка перед наступающей непогодой.

Как они тут зимою живут? Домишки хилые, печку в них не поставишь. Говорят, будто бы русалки как рыбы под лёд уходят и спят всю зиму в травяных гнёздах. Брехня всё это, да только никто не видел, чтобы русалки по снегу бегали.

Дверь хижины распахнулась. Шлёпая мокрыми босыми подошвами, вбежала Млейша.

– Грач! – русалка заговорщицки блеснула глазами и перешла вдруг на шёпот: – С тобой хочет поговорить Драга. Она старшая у нас, по промыслу, – Млейша прижала палец к губам и выскользнула.

Грача застали врасплох. Он не успел понять, что значит старшая и по какому промыслу. В домик вошла русалка – не девушка, а постарше. Насколько старше, он бы угадывать не стал, возраст у русалок дело тёмное. Она долго рассматривала Грача. Взгляд был такой же русалочий, с туманной поволокой, но – словно бы жёстче. Чёрные волосы не распущены, а перехвачены на лбу тесьмой. Закрытое платье стянуто поясом. Так носят в городе.

Драга молчала, и Грач решил заговорить первым.

– Здравствуйте... – выдавил он.

Русалка не сразу ответила, сжала губы и вдруг быстро выговорила:

– Так это ты наш друг из Плоскогорья? – голос её оказался глубоким и переливчатым.

В вопросе просквозило сочувствие и какая-то особенная женская жалость. Грач смешался.

– Эх, что же вы натворили, бедные? Не устояли, сдались.

Растерявшись, Грач стал понимать, о чём она говорит. Прикусил язык, замялся, и Драга по-своему поняла его молчание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.